

Возможно, это будет выглядеть странным, если я начну книгу о Бродском с признания в том, что никогда не видел его, не был с ним знаком, не говорил с ним даже по телефону. Более того, признаюсь, что году в девяносто пятом отложил томик его стихов с мыслью, что «это не для меня». Впрочем, однажды случилось вот что. На книжной ярмарке я без особой цели купил впервые изданную в России книжку его эссеистики, пришел домой, открыл ее и очнулся часа через полтора потрясенный и счастливый. Я дочитал книгу до конца, и во мне поселилось устойчивое ощущение, что я проспал что-то очень важное в моей жизни. Я готов был немедленно бежать куда угодно, что-то, не мешкая, предпринять, совершить все, что в моих силах, чтобы только встретить его, поговорить, поблагодарить его за минуты, часы и дни счастливых открытий. Это искушение поддерживалось тем, что мы вполне могли встретиться с ним, поскольку хоть и не были знакомы, но ходили по одним улицам в одно и то же время. Теоретически я вполне мог видеть его... Помню, как однажды в одном из питерских кафе вздрогнул, когда за соседним столиком появился человек, похожий на Бродского. Со временем это наваждение поселилось во мне и превратило мою жизнь в увлекательное приключение. Я гулял по линиям Васильевского острова в осенних сумерках, и мне казалось, что вон там за поворотом мелькнул знакомый силуэт в плаще. Или с улицы Глинки по направлению к Малой Голландии идет кто-то, очень похожий на него... Я искал его следы на Набережной Неисцелимых в Венеции, и мне казалось, что теплый мрамор венецианских фундамента может хранить его тепло, а стены «оспедале Санти Джованни и Паоло» помнят прикосновение его руки. Я заходил в его любимые рестораны, бывал в отелях, где он жил... «Зелень лавра, доходящая до дрожи, / Дверь распахнутая, пыльное оконце, / Стул покинутый, оставленная ложе, / Ткань, впитавшая полуденное солнце»...

...В конце концов мне удалось сообразить: все, что происходит со мной — род чудесной, но болезни. И избавление от вируса «поисков Бродского» было возможно только путем инфицирования этим вирусом наибольшего количества моих друзей и знакомых. То есть я превратился в эпидемически опасного человека.

Но счастье журналиста состоит в том, что, оставаясь неисцелимым, он может быть полезным тысячам других людей, вставших с ним вместе на тропу этих поисков. Ведь в конце-то концов понятно, что Иосиф Бродский покинул нас навсегда, и поиски поэта — на самом деле поиски себя самого в мире, оставленном им на Земле, в мире огромной Культуры, завещанной нам предшествующими поколениями.

Однажды поняв это, я решил, что «искать» Бродского надо вместе с людьми, которые хорошо знали, любили и понимали его. И делать это надо в тех местах, которые он сам любил и понимал. Роль моего Вергилия в разных городах мира исполняли разные люди, но каждый из них отвечал этим требованиям в полной мере.

В Санкт-Петербурге мы занимались этими поисками с прекрасным специалистом по литературному Ленинграду, великолепным знатоком поэзии Бродского и питерской топонимике Вячеславом Недошивиным. По венецианским калле и фундаментам меня водил друг Бродского и блистательный эссеист Петр Вайль. В Нью-Йорке мы путешествовали по «Бродским местам» с писателем и эссеистом Александром Генисом. В Риме моим Вергилием был прекрасно знавший поэта и его любимые местечки в вечном городе Алексей Букалов. В Лондоне Бродского мы гуляли с лучшим на сегодняшний день специалистом по жизни и творчеству поэта, его давней знакомой, профессором Килского университета Валентиной Полухиной.

Теперь же мне остается только надеяться, что вслед за нами и вы пройдете по этим «Бродским тропинкам». Что ж, в добрый путь.

М. Б.

Прежде чем отправиться по Ленинграду Бродского мы с Вячеславом Недошивиным долго гуляли по Москве и говорили о том, по каким же улицам Питера и к каким же домам мы пойдем, когда «Красная стрела» рано утром привезет нас на Московский вокзал. Дело в том, что мой «питерский Вергилий» — знаток литературного Санкт-Петербурга и Ленинграда, прекрасно разбирается в топонимике северной столицы. Результат наших разговоров и дискуссий вы видите теперь в заголовке этой главы.

Почему эти питерские заметки названы двумя буквами — М. Б.? Для любого, кто хоть немного знаком с поэзией Бродского, тут нет загадки. М. Б. — графические символы наиболее частых посвящений над его стихами. Говорят, что количество его стихов, посвященных одному человеку, не имеет аналогов в мировой поэзии. М. Б. — это Марина Павловна Басманова — ленинградская любовь Иосифа Бродского, художница, один из самых загадочных, странных и скрытных людей в окружении поэта. Вряд ли найдется сегодня хоть один персонаж из этого окружения, который был бы окутан столькими слухами, версиями, недомолвками и перемолвками. Она принципиально не дает интервью, не встречается с журналистами, не отпирает дверей даже знакомым людям, не ведет телефонных разговоров с незнакомыми. Существует только одно опубликованное фотографическое изображение загадочной «М. Б.», едва позволяющее судить о том, как она выглядит на самом деле.

Нам с Вячеславом Недошивиным, замечательным журналистом и знатоком литературного Петербурга, показалось, что в этом есть некая несправедливость: искренние поклонники великого поэта по сей день почти ничего не знают о женщине, в значительной степени формировавшей его судьбу и ставшей причиной множества прекрасных строк. Речь, разумеется, не о липких взглядах на чужую жизнь через замочную скважину. Речь о необходимых знаниях в границах допустимого.

Надобно сказать, что когда мы попытались получить таковые, встречаясь с друзьями и знакомыми поэта в Москве и в Питере, то сталкивались с одним и тем же. Нам говорили: хорошо, я расскажу вам, что знаю, но прошу вас, не публиковать то, что вы услышите, ссылаясь на меня. Я не хотел бы публично внедраться в личную жизнь Иосифа, я ощущаю это как внутренний долг перед ним.

Что было делать? Мы не имели ни малейшего права неуважительно отнестись к принципам людей, которые нам доверились, обмануть или подвести их. С другой стороны, не рассказать о том, что нам стало известно, соблюдая все возможные меры деликатности, было бы по меньшей мере непрофессиональным. Подумав, мы решили написать о том, что мы узнали без каких бы то ни было ссылок на кого бы то ни было. Впрочем, ссылки в этой публикации все же будут, но только на опубликованные тексты. Вот, пожалуй, и все, что мы хотели бы сказать вам перед тем, как отправляться по первому ленинградскому адресу.

ДОМ С МАСКАМИ УЖАСА И РАДОСТИ. УЛ. ГЛИНКИ, 15

Здесь по сей день живет Марина Басманова.

Она родилась в семье довольно известных художников. Павел Иванович Басманов еще в тридцатых годах был среди талантливых живописцев, которые группировались вокруг Михаила Кузмина. Наталья Георгиевна была известна как книжный график. Марина по некоторым свидетельствам, хоть и не получила должного образования, но была девочкой способной, быстро схватывала уроки родителей и даже помогала матери в оформлении ряда книжных изданий.

«Вход в квартиру Марины странным образом пролегал через кухню и ванную, там же находилась замаскированная под стенной шкаф уборная, а дальше двери открывались в довольно-таки немалый зал окнами на проспект, — написал когда-то друг Бродского Дмитрий Бобышев. — Слева была еще одна дверь, куда строго-настрого вход запрещался, как в комнату Синей Бороды, но изредка оттуда показывались то Павел Иванович, то Наталья Георгиевна, чтобы прошептать через зал и — в прихожую, ну, хотя бы для посещения стенного шкафа. Легкий бумажный цилиндр посреди зала освещал овальный стол, коричнево-желтые тени лежали на старом дубовом паркете...»

Марину и Иосифа познакомил студент консерватории, будущий композитор Борис Тищенко. Это случилось второго января 1962 года. Тищенко дал понять Бродскому, что Марина его невеста.

«Зеленоглазая, с высоким лбом, с темно-каштановыми волосами, очень бледная, с голубыми прожилками на виске — Марина была поразительно красива». Подруга Бродского Людмила Штерн пишет, что она казалась анемичной, в чем многие усматривали загадочность. Она была застенчивой, не блистала остроумием, не пикировалась в компаниях. Но иногда в ее зеленоватых глазах мелькало какое-то шальное выражение.

«Она была тоненькой, высокой и стройной. Знаете, у нее был такой слегка шелестящий голос, без особых интонаций. Иногда Бродский, сидевший рядом, услышав что-то, поворачивался к ней и умиленно спрашивал: «Что это мы тут шелестим?» Однажды Иосиф пришел вместе с ней в гости. Поздно, уже после одиннадцати вечера. Читали стихи, пили грузинское вино. Ушли около двух часов ночи. Она зашла, сказала «здравствуйте». Уходя, вымолвила «до свидания». Все! За весь вечер больше ни слова!».

Она носила с собой небольшие блокнотики и иногда в компаниях делала быстрые зарисовки. Мало кто видел, что именно она рисовала в этих книжечках. Однажды Бобышев обмолвился: «Я увидел в них заготовки для большого шедевра, которого так и не последовало».

«Поскольку она была исключительно молчаливой, а Иосиф никогда не делился, о чем они говорили, понять Марину было достаточно сложно. Во всяком случае,

понять, чем она его привлекала». По свидетельству того же Бобышева, она могла увлеченно и умно рассуждать о пространстве и его свойствах, о зеркалах в жизни и в живописи. Кое-кто приписывал ее взгляды влиянию известного художника и теоретика живописи Владимира Стерлигова, ученика Казимира Малевича и друга отца Марины Павла Басманова. Ее часто видели в консерватории. Она, безусловно, разбиралась в музыке, еще до того, как Иосиф стал проявлять интерес к классическим музыкальным произведениям.

«У нее были длинные гладкие волосы, обрезанные ниже плеч. Мало того, что она была красива, она представляла собой архетип женщины, который привлекал Бродского всегда, начиная с голливудской актрисы Зары Леандер, увиденной им в одном из трофейных американских фильмов. Да и после того, как он пережил любовь к Марине, с ним рядом были женщины того же архетипа. Возьмите, к примеру, Веронику Шильц — французскую переводчицу и славистку, к которой он долгое время был достаточно сильно привязан. Его жена Мария Соццани-Бродская похожа и на Зару Леандер, и на Марину Басманову».

Марина с Иосифом любили гулять по Новой Голландии — это неподалеку от ее дома — частенько заходили к Людмиле и Виктору Штернам, которые тоже жили поблизости — выпить чаю, согреться. Заходили с цветами, с улыбками. «Он не мог отвести от нее глаз и восхищенно следил за каждым ее жестом: как она откидывает волосы, как держит чашку, как смотрится в зеркало». Домработница Штернов говорила после их ухода: «Заметили, как у нее глаз сверкает? Говорю вам, она ведьма и Оську приворожила... Он еще с ней наплачется...» Однажды, после очередного разрыва с Мариной, он пришел к Штернам с окровавленным запястьем, перевязанным грязным бинтом. Молча съел тарелку супа и ушел. Потом вновь история повторилась: снова запястье и грязный бинт...

Для Бродского начинались не лучшие времена. Любил ли он Марину? Все говорят — конечно. Впрочем, один из его друзей полагает, что настоящая страсть разгорелась как раз тогда, когда он почувствовал, что может ее потерять, когда в их отношения вмешался третий.

Любила ли она его? Никто точно не может ответить на этот вопрос. Только она сама. Правда, многие говорят, что в этом смысле и Бродский, и Басманова стоили друг друга: чувства Марины обострились, как только она ощущала, что может потерять Иосифа или хотя бы утратить безраздельное влияние на него.

Честнее было бы спросить обо всем этом у самой Марины Павловны Басмановой. И мы отправились на улицу Глинки, бывшую Никольскую. День выдался солнечным, и дом № 15 по соседству с Мариинкой блистал отреставрированным фасадом. Дверь подъезда оказалась открытой. Мы вошли в сумрачное парадное с лепниной на потолке и гулками лестничными маршами. Третий этаж, квартира № 14 прямо перед нами. Долго смотрим на дверь с заделанным наглухо почтовым ящиком, с омертвевшими скважинами многочисленных замков, давно не знавших ключа, с единственным кругленьким отверстием для такового, которым, похоже, недавно пользовались. Один из нас нажимает кнопку звонка. Ждем. Но за дверью ни единого звука. Звоним еще, потом еще и еще. Ничего. Звоним в соседнюю дверь. Открывает женщина.

— Извините, мы ищем Марину Павловну Басманову. Она ведь здесь живет?

— Да, здесь.

— Вы не скажете, дома ли она?

— Не могу вам сказать. Я очень редко ее вижу. Может, дома, а может, и уехала куда-нибудь. Мы ведь практически не общаемся с ней. Она живет достаточно замкнуто.

Звоним в последний раз. Ждем и уходим. Не повезло.

Мы вышли из подъезда и перешли на противоположную сторону мостовой, откуда можно было рассмотреть окна ее квартиры, выходящие на улицу Глинки. Зашторенные проемы. Ни движения, ни силуэта, ни осторожного взгляда. Окна тоже молчали.

НОВЫЙ ГОД. ПРИМОРСКИЙ ПР., ДОМ 1

Нет, все-таки интересно: почему существует только одно известное фото изображение Басмановой? Почему никто из тех, с кем мы говорили, никто из его друзей и знакомых не смог показать нам хотя бы одну, хотя бы любительскую фотографию Марины? Каждый из них говорил: у меня нет ее фотографии. Неужели ее никогда не снимал Бродский, неужели не было ни одной случайной съемки в многочисленных компаниях, где они бывали? Ответы на наши вопросы были такими.

«Она очень не любила сниматься, вообще не любила быть на виду, в центре внимания. Всегда предпочитала оставаться в тени, окутывать себя туманом. У нее даже был изобретенный ею шифр, которым она пользовалась, зашифровывая свои записи».

«Конечно, Иосиф мог ее фотографировать. Теоретически это более чем возможно. Тем более что они очень много гуляли по городу с Мариной. И он умел пользоваться фотокамерой. После его отъезда осталось достаточно много негативов, на которых запечатлены его прогулки с Фэйс Вигзелл, девушкой, в которую он был влюблен и на которой собирался жениться. Есть негативы с изображениями Фэйс во время прогулок по Петропавловской крепости, он очень любил это место. Негативов Бродского с изображениями Марины Басмановой не осталось. Может быть, он их уничтожил?..»

«Теоретически Марину мог фотографировать Александр Иванович, отец Иосифа. Ведь он был профессиональным фотографом. Но только теоретически. И Александр Иванович, и Мария Моисеевна недолюбливали Марину, относились к ней прохладно. Справедливости ради надо сказать, что и в семье Басмановых относились к Иосифу резко отрицательно. Вообще-то это была довольно антисемитская семья. Наверняка отношение родителей так или иначе сказалось и на отношении Марины к Бродскому».

Часто Бродский с Мариной заходили на Таврическую к его другу, поэту Дмитрию Бобышеву. Но однажды, в конце шестьдесят третьего она пришла одна. Попросила закрыть дверь. Долго сидели в темноте. Ему стало неловко, он предложил прогуляться к Смольному собору...

Тогда он и получил приглашение в дом на Никольскую. Она жила в закутке на сцене танцевальной залы. Там стоял ее рабочий стол, койка, шкафы с папками и на белых обоях — легкая таинственная зашифрованная надпись. Это был ее девиз. Он уговорил ее расшифровать надпись. «Быть, а не казаться», — прочитала она. Значки он запомнил. И, придя домой, легко расшифровал надпись на книге французских поэтов, которую она ему подарила: «Моему любимому поэту. Марина!».

Через несколько дней она сказала ему, что хочет встретить новый (1964-й) год с ним. Ну, конечно, ответил он и объяснил, как его найти на даче в Комарово, где он тогда жил.

Спустя много лет мы разыскали этот дом, на самой границе Комарова и Зеленогорска: двухэтажный, деревянный, фасадом обращенный к заливу, с ручьем пред задним крыльцом. Все сохранилось: и ручей, и фасад, и крыльцо... Так что же произошло здесь в ночь на первое января 1964 года?

Бобышев предупредил компанию своих друзей, снимавших дачу, что к нему приедет Марина — девушка Бродского, которую тот, уезжая в Москву, велел ему опекать. Проводили старый год, а Марины все не было. Она появилась, когда отзвенели куранты. Оказывается, пропустила поезд, а следующий увез ее в Зеленогорск, откуда ее «веселый мильтон» доставил в коляске мотоцикла.

Вдвоем с Бобышевым они взяли по свече и вышли на лед залива. «Мы остановились, я поцеловал ее, почувствовал снежный запах ее волос... Послушай, прежде чем сказать ритуальные слова, я хочу задать вопрос, очень важный... Какой? Как же Иосиф? Мы с ним были друзья... Теперь уже, правда, нет. Но ведь он, кажется считал тебя своей невестой, считает, возможно, и сейчас, да и другие так думают. Что ты скажешь? Я себя так не считаю, а что он думает, это его дело...»

Они вернулись на дачу со свечами и стали танцевать. Маринина свеча подожгла ленту серпантина, огонь перекинулся на занавески. Она, зачарованно глядя на огонь, сказала: «Как красиво!».

Начавшийся было пожар потушили совместными усилиями. Но новогоднюю ночь, проведенную с Мариной Басмановой, Бобышеву не простил никто. Все знали, что Иосиф Бродский в это время скрывался в Москве от неминуемого ареста, и поведение Бобышева сочли предательством. Про Марину не говорили ничего. На следующий день компания попросила Бобышева покинуть дачу с вещами. Он подчинился.

Бродский узнал о том, что его друг Дмитрий Бобышев теперь с Мариной через десять дней в Москве, на Мясницкой, в квартире поэта Евгения Рейна. Он занял у Рейна двадцать рублей и побежал за билетом на поезд в Ленинград. Бродского отговаривали. Убеждали, что по приезде его неминуемо арестуют, что уже принято решение судить его как тунеядца. Он не слушал никого. Главное, что его по-настоящему волновало — объяснение с Мариной.

Он приехал-таки в Ленинград. Марины не было. Он нашел Бобышева. Разрыв состоялся. Через неделю его взяли прямо на улице. Трое в штатском доставили его в Дзержинское районное отделение милиции.

СУД. УЛ. ВОССТАНИЯ, 38

Милиционеру на входе мы предъявили документы и поднялись на второй этаж. Там же обнаружили секретаря, который помнил, что «поэта Бродского судили в зале № 9». Как выяснилось, здание суда недавно отремонтировали, так что зал № 9 выглядит теперь немного иначе. Снимать нам запретили, но посмотреть позволили. Скамья подсудимых, на которой когда-то сидел Бродский, теперь обнесена стальной клеткой: чай не тунеядцев теперь тут судят. В остальном, сказали нам, все осталось почти без изменений. Зал маленький. Сорок четыре года назад на процесс «тунеядца Бродского» сюда пустили всего несколько человек, включая родителей поэта. Судьей была некто Савельева, общественным обвинителем некто Сорокин. В зале находилась корреспондент «Литературки» Фрида Вигдорова. Цитируем по ее записи.

«СУДЬЯ. Чем вы занимаетесь?

БРОДСКИЙ. Пишу стихи, перевожу. Я полагаю...

СУДЬЯ. Никаких «я полагаю». Стойте как следует! Не прислоняйтесь к стенам! Смотрите на суд! Отвечайте суду как следует! У вас была постоянная работа?

БРОДСКИЙ. Я думал, что это постоянная работа.

СУДЬЯ. Отвечайте точно!

БРОДСКИЙ. Я писал стихи! Я думал, что они будут напечатаны. Я полагаю... СУДЬЯ. Нас не интересует «я полагаю». Отвечайте, почему вы не работали?

БРОДСКИЙ. Я работал. Я писал стихи...

СУДЬЯ. Ваш трудовой стаж?

БРОДСКИЙ. Примерно...

СУДЬЯ. Нас не интересует «примерно»!

БРОДСКИЙ. Пять лет...»

Таким был этот славный диалог. В результате Бродского направили на психиатрическую экспертизу. С их точки зрения нормальный человек не мог так отвечать на их вопросы. Через месяц, когда экспертиза не обнаружила у него отклонений, процесс продолжили. Правда, уже в другом месте, в бывшем клубе РСУ № 4, на набережной Фонтанки.

Бродский стоял на суде вполборота к залу, в темно-сером расстегнутом пальто, вельветовых брюках и рыжевато-коричневом свитере. Держался спокойно, с достоинством, даже как-то отрешенно. Потом, уже в Нью-Йорке, он скажет Людмиле Штерн: «Это было настолько менее важно, чем история с Мариной. Все мои душевные силы ушли на то, чтобы справиться с этим несчастьем».

В постановлении суда говорилось: «Бродского Иосифа Александровича на основании Указа Президиума Верховного Совета... выселить из гор. Ленинграда в специально отведенную местность на срок 5 (пять) лет с обязательным привлечением к труду по месту поселения. Исполнение немедленное. Срок высылки исчислять с 13/2-64 г. Постановление обжалованию не подлежит».

Специально отведенная местность называлась деревня Норенская Архангельской области. Марина приезжала к нему в Норенскую один раз.

Эта любовь умерла, судя по его стихам, в 1989 году, когда он написал под обычными инициалами посвящения «М. Б.»: «Не пойми меня дурно. С твоим голосом, телом, именем/ ничего уже больше не связано; никто их не уничтожил, / но забыть одну жизнь — человеку нужна, как минимум, / еще одна жизнь. И я эту долю прожил». К тому времени он не видел Марину Басманову уже семнадцать лет.

Говорят, что эта любовь закончилась значительно раньше. Знаменитое «М. Б.» над его стихами уже не свидетельствовало о неутоленной страсти, скорее стало элементом, иероглифом, графическим символом великой и вечной поэтической игры поэта с дамой сердца. Говорят, что Марина была готова уехать к нему в Нью-Йорк. Но он уже не хотел этого, потому что все кончилось в той жизни, а в новой ей уже не было места. Просто его новая жизнь оказалась другой, не хуже и не лучше — другой.

Никто этого не знает точно, кроме двоих — Бродского и М. Б. Но Бродского уже нет, а она молчит...

Когда текст этот был написан, один из нас снял трубку телефона и в который уже раз набрал ее номер. Как всегда, несколько долгих минут длинные гудки вызова не прерывались ничем. Надо было давать отбой. Но, к счастью, звонивший о чем-то задумался. К реальности его вернул тихий, усталый голос с еле заметными модуляциями на низких нотах.

— Алло.

— Это Марина Павловна?

— Да.

— Вас беспокоит незнакомый вам человек. Я работаю в «Российской газете». У меня на столе лежит материал, посвященный вам. Я хочу попросить вас прочитать его перед тем, как он будет опубликован...

— Я не стану ничего читать.

— Вам безразлично, что о вас напишут?

— Мне это неинтересно.

— Мне кажется, что этот материал сделан корректно и с уважением к вам.

— Ну и хорошо.

— Что ж, позвольте пожелать вам всего доброго и поздравить с майскими праздниками.

— И вам.

Гудки в трубке стали короткими. Один из нас сидел за столом с телефонной трубкой в руке абсолютно потрясенный. Конечно, не содержанием этого довольно бессмысленного разговора. Голос! Это единственное, что не меняется в человеке с возрастом. Сам Бродский когда-то заметил по поводу ее голоса, что связи не испытывают трения и оттого не изнашиваются с годами. Одному из нас посчастливилось вдруг улететь в шестьдесят четвертый год.

«Повезло и тебе: где еще, кроме разве что фотографии, / ты пребудешь всегда без морщин, молода, весела, глумлива? / Ибо время, столкнувшись с памятью, узнает о своем бесправии. / Я курю в темноте и вдыхаю гнилье отлива».

Как это, где, кроме фотографии? А голос?!

ПРИЗРАК

Честно говоря, квартиру эту открыл мне Михаил Исаевич Мильчик — старинный друг Бродского, кандидат искусствоведения и заместитель гендиректора одного из питерских НИИ. Открыл в буквальном смысле слова: у него был ключ от входной двери.

Мы поднялись на второй этаж знаменитого питерского дома Мурузи на перекрестке улицы Пестеля и Литейного и вошли в квартиру № 28. Квартира эта и по сию пору коммунальная. Проживают в ней двое хозяев (три жильца). Во времена Бродского их было четверо: четыре двери, четыре электросчетчика и общая кухня.

Одну из дверей Мильчик открыл своим ключом, и мы вошли в знаменитые «полторы комнаты», описанные Бродским в одноименном эссе. Почему «полторы»?

Потому что в 1955 году родители Бродского — Александр Иванович и Мария Моисеевна — обменяли две комнаты, в которых жили раздельно, на одну большую комнату в коммунальной квартире знаменитого дома Мурузи на углу Литейного проспекта и улицы Пестеля. Комната действительно была большой, поэтому могла служить (да и служила) одновременно и столовой, и прихожей, и спальней для троих Бродских: взрослых и маленького. Но очень скоро Александру Ивановичу понадобилась фотолаборатория, и он отгородил себе закуток плотными шторами. А потом и Иосифу потребовалось творческое уединение. Как следствие — в комнате возникли книжные шкафы с чемоданами на них и шифоньеры, отделявшие закуток Бродского-младшего от фотолаборатории Александра Ивановича. Так и возникли эти полторы комнаты, давшие название самому известному эссе нобелевского лауреата.

На этом снимке все, что было когда-то закутком Иосифа Бродского и фотолабораторией Александра Ивановича, отделено перегородкой, образующей стенку (у нее теперь стоит шкаф). А за перегородкой в ту пору обитал новый жилец.

С Мильчиком мы говорим в большой комнате. И выясняем, что здесь стояла когда-то огромная деревянная родительская кровать, обширная площадь которой становилась местом семейных совещаний. Стоял огромный, до потолка буфет, в котором покоилось несколько трофейных образцов фарфоровой посуды. Мария Моисеевна категорически запрещала ее использование Александру Ивановичу и

Иосифу, поскольку полагаю, что и тот, и другой не умеют обращаться с подобными вещами. Таким образом, восточный фарфор был призван радовать только глаз. Перед буфетом располагался массивный обеденный стол, за которым отмечались дни рождений родителей и Иосифа. Иногда он едва вмещал всех гостей. Был и еще один буфет, поменьше, скорее горка. Телевизор стоял в простенке у окна. Ну, книжные шкафы с чемоданами. Еще когда-то в углу была печка с дымоходом, уходившим в стену. Но Александр Иванович ее разобрал.

Когда в 1972 году Иосифа Бродского вынудили уехать из страны, когда друзья проводили его в Пулково, Мильчик попросил родителей ничего не трогать в его закуске. Он пришел в тот же день с фотоаппаратом и заснял в подробностях интерьер этой полукомнатушки. Когда вслед за Марией Моисеевной умер Александр Иванович и комната опустела, он сделал то же самое: пришел и сфотографировал интерьер в деталях. Он уже тогда надеялся, что интерьер рано или поздно придется восстанавливать. Он знал, что тут будет музей-квартира поэта.

Мебель распродали наследники. Библиотека Бродского сохранилась. Она передана другом поэта Яковом Гординым Ахматовскому музею в Фонтанном доме. А Мильчику достались фотографии, негативы, немногие автографы, кой-какие черновики и фотоаппарат Бродского. Два года назад он развесил по стенам этой комнаты редкие фотографии Иосифа Александровича.

«Полторы комнаты» Бродский написал тогда, когда ни Александра Ивановича, ни Марии Моисеевны уже не было в живых. Он писал это эссе на английском языке. «Я пишу о них по-английски, ибо хочу даровать им резерв свободы... Я хочу, чтобы Мария Вольперт и Александр Бродский обрели реальность в «иноземном кодексе совести»... Понимаю, что не следует отождествлять государство с языком, но двое стариков, скитаясь по многочисленным государственным канцеляриям и министерствам в надежде добиться разрешения выбраться за границу, чтобы перед смертью повидать своего единственного сына, неизменно, именно по-русски слышали в ответ двенадцать лет кряду, что государство считает такую поездку «нецелесообразной»... Ни одна страна не овладела искусством калечить души своих подданных с российской неотвратимостью, и никому с пером в руке их не вылечить: нет, это по плечу лишь Всевышнему, именно на это есть у Него столько времени. Пусть английский язык приютит моих мертвецов...»

Питерский поэт Александр Кушнер предполагал, что неприезд Бродского в Россию связан как раз с этим: Бродский, по мнению Кушнера, не смог найти в себе силы переступить порог комнаты, где умерли его мама и отец, так и не увидевшись с сыном.

Теперь она, эта комната, пуста. И ничего, кроме лепнины потолков и паркета, который не менялся с той поры, не напоминает ни о нем, ни о его родителях. Разве что фотографии.

«...Но мотылек по комнате кружил, / и он мой взгляд с недвижности сдвинул, / И если призрак здесь когда-то жил, / то он покинул этот дом. Покинул».

КЕЙС

В один из дождливых осенних дней я зашел в свой рабочий кабинет, снял плащ и направился к столу, заваленному бумагами. Я люблю эти короткие утренние минуты одиночества, когда можно спокойно подумать, собрать себя для рабочего дня. Оттого стук в дверь меня расстроил. Тем более что на пороге оказался незнакомый

человек. Высокий, стройный, седой, в очках. С легким акцентом он назвал себя и спросил: по-моему, это вы писали мне и просили со мной встретиться?

Еще бы! Передо мной стоял сам Кейс Верхейл. Давний, верный друг Бродского, его талантливый слушатель и собеседник, его поверенный в самых деликатных делах, его благодарный и строгий читатель. Он попросил воды, я сварил себе кофе. И мы стали разговаривать.

— *Многим известен ответ на этот вопрос. И все же я его задам: когда и как вы познакомились с Бродским?*

— Шел 1967 год. Я — голландский специалист по русской литературе — поехал стажироваться в СССР. Моя тема — поэзия Анны Ахматовой, я писал о ней диссертацию. Стажировка в Москве длилась год. Естественно, что я часто ездил в Ленинград. Там познакомился с профессором Максимовым, преподававшим в Ленинградском университете. Это был очень доброжелательный и мужественный человек. Он опекал меня, принимал у себя дома и однажды дал мне список людей, с которыми я, по его мнению, должен был обязательно познакомиться. В этом списке значился молодой поэт Иосиф Бродский. Там же был и его телефон. Я позвонил. Представился, сказал, что я — голландец, что пишу диссертацию об Ахматовой и что мне очень хотелось бы с ним познакомиться. Он тут же ответил: к вашим услугам, рад буду принять вас у себя. Приезжайте прямо сейчас. Честно говоря, такого быстрого ответа я не ожидал. Сказал ему, что у меня есть еще много времени в Ленинграде, и я могу приехать в любое удобное для него время. «Ну, так приезжайте, — сказал он. — Мне удобно прямо сейчас». Он объяснил, как доехать до улицы Пестеля на троллейбусе. Через некоторое время я уже был у него в знаменитых теперь полутора комнатах. Так мы познакомились. Вскоре подружились. И уже не расставались до самой его смерти.

— *Вы ведь одногодки с Бродским. Вам было тогда по...*

— По двадцать семь лет. Жизнь только начиналась.

— *Что вам бросилось в глаза при первом знакомстве? Понятно, что вы для него были представителем Запада, а был ли он для вас советским человеком? Что в нем было советского?*

— Ну, пожалуй, у него была особая манера, особый стиль поведения. Вообще-то он был и деликатен, и эрудирован. Но если не брать во внимание тематику наших разговоров, во всем остальном это был вполне нормальный советский парень.

— *Вас что-нибудь «царапало» в нем?*

— Он был, как бы это сказать... очень доминирующим. Пытался постоянно решать за меня, с кем мне надо встречаться и по теме моей диссертации, и вообще, а с кем категорически не следует этого делать. При этом Иосиф исходил исключительно из собственных пристрастий и антипатий. То есть он стремился подчинить мои действия своим вкусам и убеждениям, не считаясь с моими собственными. Очень обижался, когда я пренебрегал его мнением. Как говорят в России, случай был тяжелым. И мы, конечно, ссорились. Но, слава богу, наши размолвки не были глубокими и долговременными.

— *Вы писали, что он мог заговаривать с вами о чем угодно, полагая, что вы все знаете. Возможно, у него сложился стереотип западного человека, который прекрасно образован и все на свете знает...*

— Вероятно, вы правы, это был его стереотип западного человека: лучше образованного и лучше эрудированного. Но я не соответствовал этому стереотипу, я не был всезнайкой. Понимаете, за первый же час нашего знакомства мы выяснили, что нам нравится в литературе одно и то же, нам близки одни и те же писатели, художники... У нас с ним совпали вкусы. Но я к тому времени лучше Иосифа знал

английскую и американскую поэзию. Ему в закрытом от мира СССР, разумеется, труднее было стать столь же осведомленным. Поэтому ему было интересно услышать мои суждения о том, что я читал. Помимо этого, ему было просто интересно общаться с человеком, который живет там. И очень важно, что его вкусы совпадают со вкусами человека из другого мира...

— *Как если бы ваши вкусы совпали со вкусами марсианина...*

— Примерно так. Добавьте к этому то обстоятельство, что перед нашей встречей я год учился в Америке. Так что у меня были свежие впечатления и знания, по поводу которых он испытывал настоящий духовный голод. Тем более что английская и американская литература интересовали его совершенно особенно. Надо признаться, что я знал латынь и читал классических поэтов в оригинале. И, конечно, он завидовал этому качеству моего образования.

— *Был ли у него комплекс недостаточно образованного человека?*

— Да, это правда.

— *В чем это выразилось?*

— Я бы сказал так: Иосиф был прекрасно образованным человеком. Но не забывайте, что он сам расстался со средней школой и в дальнейшем сам себя «образовал» без какой бы то ни было помощи государства. Это далось ему огромным трудом. И все же, обладая немалыми знаниями, он постоянно испытывал сомнения в их качестве и в системе их приобретения. Я настойчиво объяснял ему, что и образование, и эрудиция сами по себе ничего не значат, что самообразование — лучший университет из всех существующих в мире. Думаю, в конце концов он согласился с этим.

— *Вы знали его и в ленинградский период, и в то время, которое он провел уже в изгнании. Изменился ли Бродский за время пребывания на Западе?*

— Да, конечно.

— *В чем?*

— Он очень быстро избавился от комплекса некой советской ущербности.

— *Что вы имеете в виду?*

— Он понял, что многие из западных писателей и поэтов, которыми он восхищался в Ленинграде, вполне сопоставимы с ним самим и по уровню образованности, и по качеству дарования. Он понял, что вполне независим от них, более того, скорее они зависят от его авторитетного мнения. Он понял, что вполне вписывается в контекст западной культуры, что в этом контексте у него есть достойное место. Более того, он понял, что на стеллаже западной литературы он стоит рядом с великими. Оттого очень скоро он стал вести себя как мэтр, который имеет право решать, что плохо, а что хорошо, что интересно, а что неинтересно. Раньше его мучил комплекс советского литератора, оторванного от контекста западной культуры. И вот он понял наконец, что сам достойно представляет западную культуру.

— *Если я не ошибаюсь, одно из первых впечатлений Бродского об эмигрантской жизни — это его открытие: оказывается, на английском языке можно сказать глупость.*

— Ну да. Это примерно так же, как я до сих пор с трудом понимаю, как можно на языке Пушкина, Толстого и Чехова написать пошлость.

— *Вы бывали у него в гостях и в полутора комнатах на улице Пестеля в Ленинграде, и в нью-йоркской квартире на Мортон-стрит. Правда ли, что интерьер его американской квартиры был почти точно скопирован с интерьера его закуска в ленинградской коммуналке?*

— Верно, так и было.

— *Почему он бережно перенес свой стесненный ленинградский быт в Америку? Как вы думаете?*

— Мне кажется, что это связано с его родителями. До самого последнего дня в России он жил со своими родителями — Александром Ивановичем и Марией Моисеевной. Они всегда очень хорошо и с большим пониманием относились к Иосифу. И он был заботливым и нежным сыном. Когда его выдворили из страны, то разлука с родителями, как мне кажется, была для него самой тяжелой. Я думаю, что он специально сохранил в своем рабочем кабинете на Мортон-стрит интерьер своего ленинградского закутка: это была наивная попытка убедить себя в том, что там, за шкафом — по-прежнему комната родителей, мамы и папы, которые были ему так дороги...

— *Вы ведь были знакомы с Марией Моисеевной и Александром Ивановичем?*

— Да, и не просто знаком, у нас были замечательные, теплые отношения. Всякий раз бывая в Ленинграде, уже после отъезда Иосифа, я обязательно заходил к ним. Мы пили чай, и они расспрашивали меня о нем: есть ли у него работа, хватает ли ему денег, есть ли у него девушка, не собирается ли он жениться. Просили передать Иосифу, чтобы не шутил со своим здоровьем и обязательно пошел к зубному врачу. Он очень не любил, когда чужой человек начинал рассказывать ему о его родителях. Всем своим видом Иосиф давал понять, что тема закрыта, что это не обсуждается. Мои рассказы он выслушивал благосклонно. Я чувствовал, что ему было приятно.

— *Он волновался, когда вы рассказывали ему о родителях?*

— Внешне он оставался спокойным, но я чувствовал, как он переживает. Не то чтобы он плакал, но был чрезвычайно взволнован. Когда после смерти Александра Ивановича я привез Иосифу вещи отца и его фотографии, он принял все это, мельком взглянул на фотографии и кратко сказал: «Спасибо». Но что было при этом в его глазах! Разлука с родителями — его саднящая рана, которая так и не зажила до самой смерти.

— *Как вы думаете, почему Бродский так и не приехал в Питер, не захотел вернуться туда хотя бы на день?*

— Версий на эту тему много. Сам Бродский всегда отшучивался, когда ему задавали такие вопросы. Я думаю по этому поводу вот что. У него была такая идея: самое главное в жизни — следующий шаг. Не останавливаться и не возвращаться, идти всегда дальше. Он не любил возвращений. Не любил Одиссея, например, за его неизбежное стремление вернуться на Итаку. Следующий шаг должен быть только вперед, нельзя позволить ностальгии оседлать твой жизненный маршрут. Он очень любил и постоянно ссылался на стихотворение Ахматовой о Данте, который тоже не вернулся в родную Флоренцию, изгнанный оттуда: «Он и после смерти не вернулся / В старую Флоренцию свою. / Факел, ночь, последнее объятье, / За порогом дикий вопль судьбы... / Он из ада ей послал проклятье / И в раю не мог ее забыть, / Но босой в рубахе покаянной, / Со свечой зажженной не пошел / По своей Флоренции желанной, / Вероломной, низкой, долгожданной...» Это была целая философия, жизненный принцип: не возвращаться, идти дальше, делать следующий шаг.

— *Я хотел бы задать вам деликатный вопрос. Вы можете не отвечать на него, если не хотите. Просто вы знали Бродского очень близко... Когда, по вашим ощущениям, иссякла его привязанность к Марине Басмановой?*

— Когда, когда... Никогда! Я думаю — никогда. Даже когда написал свое знаменитое отречение от нее: «Дорогая, я вышел сегодня из дому поздно вечером...» Ну, может быть, когда он в конце концов женился. Может быть, тогда у него возникло ощущение освобождения от этого чувства. Я возвращался из своих поездок по России и обязательно рассказывал ему о своих встречах с Мариной. И по сей день я захожу к ней, когда бываю в Питере.

— *Он слушал с интересом ваши рассказы о встречах с Мариной?*

— С огромным интересом. Знаете — раз уж зашел об этом разговор... — у него даже была такая идея: я должен был жениться на Марине, чтобы вывезти ее из Советского Союза. И тогда она жила бы с ним в Америке.

— *Фиктивный брак?*

— Да, да, конечно. Я говорил об этом с Мариной. Она отказалась, поскольку всегда была привязана к России и не мыслила себе жизни на Западе. Конечно, она любила его, но, видимо, есть любовь, которая исключает совместную жизнь... В его жизни, насколько мне известно, были только две женщины, сказавшие ему «нет». Одна из них — Марина Басманова.

— *А она... она спрашивала вас о Бродском? Ей было это интересно?*

— Ну, конечно. Ей было интересно услышать о нем все.

— *Сменим тему. Известно, что у Бродского была своеобразная манера чтения собственных стихов. Петр Вайль написал, что это скорее напоминало литургическое пение. Во всяком случае, «Бродская интонация» стала неотъемлемым элементом восприятия его поэзии. Как вы думаете, не становятся поэтические тексты Бродского беднее без этой интонации?*

— Знаете, в какой-то момент я решил для себя, что книжная страница его поэзии и чтение того же текста вслух — это разные явления. И то, и другое производит очень сильное впечатление. Когда на его похоронах в Нью-Йорке Леша Лосев читал «Сретенье» Бродского, я был поражен. Я думал: как хорошо для его стихов, что они теперь свободны от обязательной связи с его голосом. Если же говорить об интонации Иосифа, то на Западе он еще более усовершенствовал эту манеру чтения своих стихов. Дело в том, что там он чаще сталкивался с англоязычной аудиторией, которая ничего не понимала по-русски. Поэтому он сначала читал перевод на английском, а потом исполнял то же стихотворение по-русски, интонируя так, как он это умел. И люди, не знавшие русского языка, сидели абсолютно замороженные этой манерой, этим пением.

— *Галич, Окуджава, Высоцкий тоже пели свои стихи. Был ли случай Бродского явлением того же порядка?*

— Пожалуй, что так.

— *Объясните, в чем причины его бурного романа с английским языком? Почему ему непременно надо было сочинять по-английски?*

— Выше всего в литературе наряду с латинской он ставил английскую поэзию. Это была для него абсолютная высота. И Бродский, как человек крайне амбициозный, конечно же, должен был эту высоту покорить, взять. Что он и сделал. К концу жизни он абсолютно свободно владел языком, правда, говорил с легким акцентом. Акцент был и в текстах. Иногда он употреблял слова, известные ему из словарей, но которые давно перестали существовать в живом языке. Англичанам и американцам это было заметно. Тем не менее его английская эссеистика безупречна и даже блистательна. Думаю, он покорила западных интеллектуалов именно своей прозой.

— *Есть ли у вас любимое эссе Бродского, любимое стихотворение?*

— Если эссе, то это «Полторы комнаты». Если стихи, то это «Горбунов и Горчаков».

— *В своей книге о Бродском вы пишете, что в минуты воодушевления он имел обыкновение что-то мурлыкать себе под нос. Что он мурлыкал? Это была какая-то мелодия?*

— Нет, нет, это не была мелодия. Он мурлыкал буквально, как кот. Кстати, в такие минуты он мог своей рукой, как кошачьей лапой, осторожно «поцарапать» вам спину или плечо. Он вообще любил вообразить себя котом...

— *Если бы вам стал известен номер телефона, по которому вы могли бы с ним говорить сегодня хотя бы минуту, что бы вы ему сказали?*

— Вы знаете, мне не нужен номер его телефона, поскольку я говорю с ним уже несколько лет подряд. Мы встречаемся минимум раз в неделю. Это происходит в моих снах, повторяющихся с удивительным постоянством. Мы встречаемся не в России, может быть в Париже, или в Риме, или в Амстердаме... Мы разговариваем. Причем и я, и он знаем, что он умер, что его уже нет. Но это никак не мешает нашей беседе. Дело даже не в содержании этих снов. Главное — это сам процесс общения. Когда я просыпаюсь, то прекрасно помню его лицо, его настроение, выражение его глаз, жесты, мимику, я слышу его голос. Но вот о чем мы с ним говорили — не помню. Напрягаю память, пытаюсь уловить какие-то детали разговора, но — тщетно. И я говорю себе: ну, ничего, до следующей встречи осталось немного...

ОСЯ — JOSEPH

Людмила Штерн, знавшая Бродского еще мальчишкой в послевоенном Ленинграде, водившая с ним дружбу, слышавшая авторское чтение его стихов, нынче живет в американском Бостоне, в России бывает редко, оттого встреча с ней — удача для журналиста, особенно если этот журналист интересуется Бродским.

Мы встретились с ней в Санкт-Петербурге. Людмила Яковлевна прилетела на празднование юбилея Бродского в его и свой родной город. Мы договорились, что я буду ждать ее на Литейном, у дома номер тридцать семь. Я хотел, чтобы она показала мне то самое место в запутанных питерских двориках, где когда-то давно стоял теннисный стол и где Бродский и Найман выясняли отношения по поводу того, должен ли настоящий поэт быть одинок. Я подждал ее в назначенное время и размышлял над тем, как изменились всего за какие-то пятьдесят лет поводы для хорошей драки. Вот Бродский и Найман подрались, не сойдясь во взглядах на экзистенциальную сущность поэта. С тех пор порог мотиваций для мордобоя катастрофически снизился до «ты чего под ноги не смотришь, в табло захотел?». Жизнь и ее персональные носители изменились радикально, но мне все-таки интереснее мотивация Бродского и Наймана: у них принципиально иные лексические основы, мне куда более понятен их язык, нежели тот, на котором общаются нынешние «любители пинг-понга». Оттого и Людмилу Штерн я ожидал с нетерпением. Она появилась и немедленно стала рассказывать, что происходило здесь, на Литейном в начале шестидесятых.

Между делом она командовала нашим продвижением к цели: «теперь направо, а сейчас вот в эту подворотню». Я послушно следовал ее указаниям. Наконец, миновав изрядное количество подозрительных двориков и каменных колодцев, мы оказались в относительно чистом и просторном дворе, где был дом с крыльцом. Людмила Яковлевна подошла к крыльцу и устало прислонилась к перилам. «Все, — сказала она, — пришли. Вот здесь был мой «Ленгипроводхоз», там располагался гараж, а вот тут стоял теннисный стол, на котором Бродский и Найман дубасили друг друга, вместо того чтобы мирно играть в пинг-понг».

Теннисного стола не было, гаража тоже. Не было, впрочем, и многого другого. Мы начали разговор...

— *Вы написали книжку, которую назвали «Ося, Иосиф, Joseph», обозначив таким образом три временных ипостаси Бродского: юноша, взрослый человек и эмигрант, известный поэт, стяжавший славу и Нобелевскую премию. Что*

в нем менялось с каждой последующей ступенью и что оставалось неизменным. Иными словами, чем похожи Ося, Иосиф и Joseph и чем отличаются друг от друга?

— Это одновременно и простой, и сложный вопрос. Когда я с ним познакомилась, он был просто Осей. Писал стихи, не лучше и не хуже, чем другие. Другие тоже писали стихи, вся наша компания этим занималась. Мы не воспринимали его тогда, как какого-то особенного. Повторяю, он был просто Осей, а то и Оськой. Вихрастый, рыжий, очень застенчивый и одновременно задиристый. Не светский. Веселый. Как говорится, все в одном флаконе. Вот Довлатов, например, писал веселые вещи, но сам был грустен и даже трагичен. А Ося писал невероятно трагические строки, оставаясь при этом веселым и легким. Иосиф — это уже довольно известный поэт, которого не печатали. Это уже человек, который писал заметно лучше, чем многие в его окружении. Он повзрослел, но характер все равно оставался тем же. Та же манера поведения. И наконец Joseph. Это человек уже обремененный славой, беспрецедентной, почти невыносимой. На нем огромная ответственность нобелевского лауреата, бесконечные просьбы о предисловиях, о выступлениях, об участиях где-то и в чем-то... Он стал спокойнее, но одновременно с этим в нем поселилось ощущение отпущенного ему срока.

— В известном фильме «Прогулки с Бродским» Бродский и Рейн встречаются после почти двадцати лет разлуки. Мне показалось, что Бродский значительно масштабнее, глубже, значительнее своего друга, которого считал когда-то учителем. Насколько справедливы мои ощущения?

— Бродский действительно называл Рейна своим учителем. Это было еще в Ленинграде. Рейн тогда был опытнее Иосифа, он раньше начал писать, да и по возрасту он был на пять лет старше. Но годы, прожитые за границей, тот опыт, который получил Бродский, та среда, в которой он проводил время, его поразительно интенсивное интеллектуальное и поэтическое взросление сделали свое дело. Он прожил существенную часть совершенно другой жизни, о которой никто из его ленинградских друзей практически ничего не знал. Вероятно, поэтому заметна разница в поэтическом, в философском масштабе Бродского и тех, кто приезжал к нему после долгой разлуки. Многим казалось, что он — прежний Оська. На самом деле в значительной степени это был уже другой человек, ушедший от «прежнего Оськи» далеко-далеко. Это отражалось и на лице, и в масштабе мысли. Не случайно почти все, встретившиеся с ним после долгой разлуки, ощущали некую дистанцию, возникшую между ними и Бродским. Иосиф был чрезвычайно деликатным в отношениях со старыми друзьями, но тем не менее дистанция эта уже была и она отражала реальные перемены.

— Когда он читал вам свои стихи, как вы это воспринимали?

— Лично я ощущала себя в эти мгновения как под гипнозом. Его чтение завораживало. Вообще, любое общение с ним, когда он был близко, завораживало. Няня моя, слышавшая его чтение, говорила: «Оська как псалмы читает». Действительно, его чтение напоминало молитву.

— Что вам особенно нравится из его стихов сегодня?

— Очень люблю его ранние стихи. А из поздних — «Осенний крик ястреба». Люблю «Колыбельную трескового мыса». Она «списана» с тех мест под Бостоном, где мы жили и где он бывал, где все до сих пор напоминает о нем.

— На чем основывались его симпатии и антипатии? Говорят, что он мог с первой секунды знакомства проникаться к человеку доверием или, наоборот, — неприязнью.

— Вы задаете вопрос, на который нет ответа. Тем не менее попробую хотя бы объяснить, почему это так. Все его знакомые условно делились на четыре катего-

рии: те, кого он безоговорочно любил, те, к кому он просто хорошо относился, те, кого он терпел и те, кого на дух не выносил. Но в зависимости от его настроения и времени суток люди легко переходили из одной категории в другую. Поэтому я всегда говорила ему: я спрашиваю тебя, как ты к нему относишься, но прошу поставить под твоей оценкой дату. Имелось в виду, что в иной день оценка того же человека могла радикально поменяться.

— *Что нужно было сказать в его компании, чтобы Бродский повернулся и ушел?*

— Пошлость. Рассказывают про случай с Евтушенко, который пригласил Бродского в ресторан. Там оказалась какая-то девушка в веснушках. Якобы Евтушенко сказал ей: я хотел бы губами собрать веснушки с вашего лица. Бродский незамедлительно поднялся и ушел. Стерпеть пошлость было выше его сил.

— *Если бы ему можно было бы позвонить, что бы вы ему сказали?*

— Ося, ты как-то сказал, что рай — это тупик, из которого некуда стремиться. Ты и сейчас так считаешь?

В ВЕНЕЦИИ. ОШИБКА

Как известно, знаменитое эссе Иосифа Бродского о Венеции называется «Набережная Неисцелимых». Впервые опубликованное, оно носило название «Водяной знак», но потом он счел необходимым изменить заголовок. Эта набережная единожды появляется в тексте эссе, скорее даже мелькает. «От дома мы пошли налево и через две минуты очутились на Fondamenta degli Incurabili». Фондамента Инкурабили — так звучит на итальянском название этого странного места. Странного, потому что, когда я приехал сюда, чтобы найти его, выяснилось, что Fondamenta degli Incurabili в Венеции не существует.

Однажды я провел в поисках Инкурабили целый день. Купил подробный план города, изучил его, но ничего подобного не обнаружил. Тогда я двинулся буквально по следам Иосифа Александровича: пересек мост Академии, повернул направо и узкими переулками выбрался на тихий безлюдный канал как раз в том месте, где стоял пансион Академия — первое венецианское пристанище Бродского. В задумчивости я прошел по набережной канала до конца, повернул в направлении церкви Санта Мария делла Салюте, дошел до респектабельного квартала, где по моим скудным представлениям могла проживать несколько лет назад Ольга Радж — вдова известного поэта Эзры Паунда. Собственно, визит к Ольге Радж и описывал Бродский, упомянув о набережной Инкурабили. Итак, я стоял у дома, который по моим представлениям принадлежал вдове Эзры Паунда. Изобразив из себя давнего гостя Ольги Радж, я в полном соответствии с полученной инструкцией пошел от дома налево и через две минуты... оказался на Терра Фоскарини, в трех шагах от моста Академия, откуда, собственно, и начал свое расследование. Фиаско оказалось полным и красноречивым.

Однако ничто на земле не проходит бесследно. Гуляя некоторое время спустя по виа Гарibaldi — улице, далекой от расхожих туристических маршрутов этого городка, я наткнулся на замечательную антикварную лавочку. Замечательную уже тем, что у хозяина ее оказался план Венеции почти двухвековой давности. Краткий, но интенсивный торг был завершен в условиях полного непротивления сторон, и, таким образом, в моих руках оказался документ немислимой топографической силы. Взглянув на него повнимательней, я буквально подпрыгнул от восторга: в нижнем левом углу этого выдающегося манускрипта, на южном окончании района

Дорсодуро, на том самом месте, где суша этого островка граничила с проливом Джудекка, было написано черным по белому: *Fondamenta degli Incurabili*. Так-то, друзья мои!

Стало быть, она существует, эта набережная, во всяком случае существовала два века назад. Но почему исчезла из современных карт? И откуда Бродский мог знать о существовании Инкурабили — набережной-невидимки? Загадки множились. Но, поскольку любопытство буквально пожирало меня, я бросился их разгадывать. Из первой же толстой книги об истории Венеции, приобретенной в местном книжном магазине, я узнал, что странное название набережной дал госпиталь и прилегающие к нему кварталы, в которых средневековый город содержал безнадежных больных, зараженных чумой. И когда эпидемия, унесшая тысячи жизней, отступила, выжившие жители Венеции соорудили в память об избавлении от напасти потрясающей красоты церковь — Санта Мария делла Салюте. Она и по сей день возвышается на стрелке Дорсодуро, соединяя (или разделяя) кварталы Академии и кварталы Инкурабили.

В общем, откуда пошло название этой набережной, более или менее стало понятно. Прояснилась и ситуация с современными картами города, на которых нет набережной Неисцелимых: Венеция сознательно или исподволь хотела поскорее забыть скорбные страницы своего прошлого. Оттого некогда зачумленный район с прилегающей набережной Инкурабили в буквальном смысле стер со старых стен прежнее название. И теперь то, что когда-то называлось набережной Неисцелимых, носит название *Fondamenta Zattere*.

Проницательный читатель, вероятно, догадался уже, что во всей этой истории с набережной существует и еще одно немаловажное обстоятельство: почему, собственно, Бродский употребил именно это слово — «неисцелимые», тогда как буквальный перевод «*incurabili*», да и историческая этимология слова, требует скорее обыденного и отдающего карболкой «неизлечимые»? Почему он, на клеточном уровне чувствовавший слово, предпочел перевести название этого места именно так — «Набережная Неисцелимых»? Почему он решил добавить в лапидарное понятие неизлечимости небесной высоты и пространства? Честное слово, мне почудилась здесь очередная загадка. И я понял: чтобы ощутить разницу между «Набережной Неизлечимых» и «Набережной Неисцелимых» надо выйти наконец на современную *Fondamenta Zattere*.

День выдался солнечным, и я решил начать путь к Инкурабили с острова Сан Микеле, городского кладбища Венеции, где сегодня стоит скромная изящная плита с лаконичной надписью на русском и английском «Иосиф Бродский. *Joseph Brodsky*. 1940 — 1996». Как и многие, я принес сюда скромный букетик цветов, купленных у цветочницы на фундамента Нуово, постоял несколько минут у могилы, покинул остров мертвых и углубился в запутанные переулки Каннареджио — северного района Венеции. Честно говоря, по пути к заветной набережной мне не терпелось заглянуть в церковь Мадонна дель Орто. Ничего особенного, так, пустяк... Просто из головы не выходили строчки Бродского из того же знаменитого эссе: «Мы обогнули остров мертвых и направились обратно к *Canaredggio*... Церкви, я всегда считал, должны стоять открытыми всю ночь; по крайней мере, *Madonna dell Orto* — не столько потому, что ночь — самое вероятное время душевных мук, сколько из-за прекрасной «Мадонны с младенцем» Беллини. Я хотел высадиться там и взглянуть на картину, на дюйм, отделяющий Ее левую ладонь от пятки Младенца. Этот дюйм — даже гораздо меньше! — и отделяет любовь от эротики. А может быть, это и есть высшая форма эротики. Но собор был закрыт...»

Словом, мне ужасно захотелось взглянуть на ту самую «Мадонну с младенцем» великого итальянца Джованни Беллини, чтобы самому понять, чем отличается

любовь от эротики. Собор меж тем был открыт, я стащил с головы мой венецианский картуз, потянул массивную дверь и нырнул внутрь. Скоро глаза привыкли к прохладному полумраку, и в гулкой тишине я отправился на поиски «Мадонны с младенцем». Через четверть часа ваш покорный слуга, потрясенный и растерянный стоял у хорошо освещенной стены собора, на которой в небольшом углублении покоилась массивная рама, окаймлявшая некогда «Мадонну с младенцем». Картины не было. В красноречивой пустоте зияла табличка с лаконичным текстом: «Картина Джованни Беллини украдена из церкви в 1993 году».

Что было делать? Не знаю, как поступили бы вы, а я поплелся в ближайший книжный магазин, благо он действительно оказался неподалеку. Я попросил у вежливого продавца все альбомы Беллини, устроился за крошечным столиком и принялся листать три толстенных книги, поступивших в мое распоряжение. Если не считать подозрительных взглядов продавца и полутора потраченных часов — результат превзошел все ожидания: я нашел репродукцию украденной картины. Но на ней мадонна и правой, и левой руками достаточно внятно касалась младенца. Я бы даже сказал, она прижимала его к себе. Никакого дюйма, отделяющего любовь от эротики, не было и в помине. Ну и дела, выходило, что Бродский ошибся.

Ошибка гения — всегда утешение для посредственности. Не то чтобы мне стало обидно за Иосифа Александровича — я захотел понять, что же произошло на самом деле. Под пристальным взглядом продавца я кое-что выписал из представленного мне трехтомника, вежливо отказался от приобретения слишком роскошных для меня изданий и скорым шагом отправился на поиски церкви Сан-Дзаккариа. Именно там, если верить каталогам, находилась еще одна работа Джованни Беллини, названная автором «Мадонна с младенцем и четырьмя святыми».

Удивительно быстро я обнаружил этот храм, свернув с главной венецианской набережной Скъявони на кампо Сан Дзаккариа. Дверь была открыта, я вошел. Несколько шагов до алтаря, и вот слева я увидел наконец то, о чем писал Бродский. Мадонна располагалась в центре композиции. Правой рукой она придерживала младенца, стоящего у нее на колене правой ножкой и слегка приподнявшего стопу левой. Ладонь левой руки мадонны, как маленькая чаша, следовала за стопой младенца, но не касалась ножки, оставляя между безымянным пальцем мадонны и пальчиками стопы крошечный зазор. Это пространство неприкосновения и вправду создавало какое-то магическое поле невероятной нежности. Я смотрел на картину несколько минут, сознавая в ней авторство и Беллини, и Бродского, и капельку своего тоже. Во всяком случае, мне не стыдно признаться вам, что я был вполне счастлив в эти мгновения.

Мне остается рассказать совсем немного. Уже на закате, миновав мост Академия, я нашел квартал, который когда-то назывался Инкурабили. Вот госпиталь, вот канал, ведущий к набережной, а вот и сама набережная, которая теперь носит имя Дзаттере. Морской ветер лагуны принес запах водорослей, упруго ударил в лицо. Я взглянул с набережной на пролив, на неровную линию фасадов острова Джудекка на противоположном берегу и остолбенел: на самом деле передо мной плескалась Нева, а неровная линия фасадов упиралась в знаменитые питерские Кресты. Секундою спустя, стряхнув наваждение, я понял, что принял за Кресты красный кирпич строившегося «Хилтона». Впрочем, все остальное — и река, и фасады — были вполне питерскими.

Так вот почему он предпочел назвать это место набережной Неисцелимых: оно слишком напоминало ему родной город. Этот зазор между двумя берегами, разделенными то ли лагуной, то ли рекой, то ли временем — скорей всего создавали именно в этом месте невероятное поле нежности и любви, ностальгии и светлого страдания, которые человеку не дано исцелить при жизни.

P.S.

Несколько лет назад я написал письмо мэру Венеции Массимо Каччари (в то время мэром был он) и попросил его о встрече и об интервью. Он согласился. Мы говорили о многом, в том числе о Бродском и о набережной Неисцелимых. Вот небольшой фрагмент из этой беседы.

— *На вечном поселении в Венеции оказались как минимум трое русских: Стравинский, Дягилев и Бродский. Как известно, они покоятся на кладбище Сан-Микеле, острове мертвых. Не были ли вы знакомы с Бродским? Что вы думаете о нем? И попутно: каковы ваши предпочтения в русской литературе, вообще в русском искусстве?*

— У Иосифа Бродского было много друзей в Венеции. И его отношения с городом были очень волнующими и прекрасными. Мы печатали наши тексты в одном издательстве — «Адольфи». И он, и я бывали там часто. В «Адольфи» вышло его прекрасное эссе о Венеции — «Набережная Неисцелимых». По-моему, это замечательная литература. И вообще, Бродский — существенная часть великой русской литературы.

— *Вы упомянули эссе Бродского «Набережная Неисцелимых». Почему название этой набережной исчезло? Теперь она называется иначе. Итальянцы не склонны, подобно моим соотечественникам, к переименованиям улиц...*

— Вы уверены, что фундамента Инкурабили (набережная Неисцелимых. — Ю. Л.) действительно больше не существует?

— *Да, теперь она называется Дзаттере.*

— Странно. Но венецианцы все равно назначают свидания на Инкурабили. В любом случае, спасибо, что сказали. Я обязательно это проверю и если это так, то название набережной вернем...

ОН ЗДЕСЬ

Однажды я позвонил Петру Вайлю, известному писателю и эссеисту, который был близко знаком с Бродским в последние годы его жизни. Я попросил Вайля рассказать о Бродском и о его любимом городе — Венеции. Петр согласился, но предложил не просто рассказать, но и показать те места, которые Бродский особенно любил в этом городе. Мы договорились о встрече и три дня гуляли по Венеции. Я задавал вопросы — он отвечал и с удовольствием показывал. Теперь я очень хочу, чтобы вы совершили ту же прогулку по Венеции Бродского в обществе Петра Вайля без посредников. Поэтому убираю свои вопросы и оставляю то, что услышал сам.

Но прежде то, с чего мы начали. Декабрьской ночью 1973 года Иосиф Бродский стоял на ступеньках венецианского вокзала «Санта-Лучия», впервые приехав в этот город. То, что он чувствовал при этом, навсегда осталось в строчках его эссе — «Набережная Неисцелимых». Собственно, с этих строчек мы и начали наше путешествие в поисках Бродского. «Ночь была ветреной, и прежде чем включилась сетчатка, меня охватило чувство абсолютного счастья: в ноздри ударил его всегдашний — для меня — синоним: запах мерзнущих водорослей. Для одних это свежескошенная трава или сено; для других — рождественская хвоя с мандаринами. Для меня — мерзлые водоросли... Похоже, счастье есть миг, когда сталкиваешься с элементами твоего собственного состава в свободном состоянии.

Тут их, абсолютно свободных, хватало, и я почувствовал, что шагнул в собственный портрет, выполненный из холодного воздуха».

Прочитав это, шагнули и мы...

ОТЕЛЬ «ГРИТТИ», «ХАРРИС-БАР», FONDAMENTA DEGLI INCURABILI — НАБЕРЕЖНАЯ НЕИСПЕЧИМЫХ

«История нашего знакомства с Иосифом Бродским начинается зимой 1977 года. Я в это время жил в Риме, ожидая оформления документов для переезда в Америку. И вот однажды в русской газете прочитал, что в Венеции проходит бьеннале инакомыслия. Мне показалось это интересным, я сел на поезд и махнул в Венецию. И здесь имел удовольствие и счастье познакомиться с Синявским, с Бродским и с Галичем, который умер через две недели в Париже. Так вот, я приехал на венецианское бьеннале, как нормальный советский человек: мне казалось, что для участия в этом мероприятии нужны специальные аккредитации, пропуска и тому подобное. На деле оказалось все иначе. Я пришел в оргкомитет и стал чего-то объяснять девушке на своем тогда чудовищном английском, и она отвечала мне примерно на таком же. Но в какой-то момент, взглянув в какие-то списки, стала сама приветливость и предупредительность: вам, господин Вайль, сказала она, предоставляется отель с полным пансионом на три дня за счет оргкомитета. Это потом выяснилось, что несчастная девица перепутала меня с известным диссидентом Борисом Вайлем, который жил в Копенгагене, числился в приглашенных гостях бьеннале и по стечению обстоятельств не смог приехать в Венецию. Но я-то этого не знал. И, что характерно, все произошедшее представлялось мне тогда совершенно естественным: я полагал, что на Западе к людям должны относиться именно так. Короче говоря, проживая на халяву в Венеции, я активно участвовал в мероприятиях бьеннале, ходил на круглые столы, посещал экспозиции и выставки, в том числе выставку Олега Целкова, с которым мы познакомились, подружился и в первый же вечер изрядно напилась.

В один из дней моего счастливого пребывания здесь, в вестибюле одного из отелей я увидел, что какой-то человек пытается пройти, а служитель его не пускает. Служитель говорил по-итальянски, а посетитель только по-английски. К тому времени я жил уже четыре месяца в Италии и довольно много про себя воображал. Поэтому посчитал себя достаточно знающим язык, чтобы помочь человеку. И, что характерно, помог, о чем-то мы там со служителем договорились. Во всяком случае, человека пропустили. Мы познакомились. Его звали Иосиф Бродский. Поговорили. Он сказал тогда, что русскому человеку лучше жить если не в России, то в Америке. Потом я много раз вспоминал эти его слова. Вероятно, он имел в виду и множество национальностей, проживающих в США, и масштаб территории, то, что было похоже на СССР...

А примерно через день Бродский читал свои стихи в какой-то из аудиторий бьеннале. Я впервые слушал его неподражаемое литургическое пение стихов...

Он жил тогда в «Лондре» — отеле на главной набережной Венеции, а его подруга, американская писательница Сюзанна Зонтаг — в отеле «Гритти». Пошли туда, поскольку неподалеку знаменитый «Харрис-бар», где бывали куча знаменитостей, основной из которых Хемингуэй, а вот теперь и Бродский. Во всяком случае, по его же свидетельству, именно в этом баре он встретил рождество семьдесят седьмого года вместе с Сюзанной Зонтаг. Бьюсь об заклад, они пили коктейль «Бел-

лини») — фирменное изобретение «Харрис-бара» — умелая смесь шампанского и натурального сока белого персика. Хотя Бродский любил и кое-что крепче, граппу, например. Не исключено, что они полакомились и еще одним блюдом, изобретенным в «Харрис-баре», а точнее его хозяином, сеньором Чиприани, владельцем самого роскошного отеля в Венеции. Там останавливаются голливудские звезды, приезжающие на Венецианские кинофестивали. Так вот, однажды одна знакомая Чиприани, знаменитая голливудская актриса, пожаловалась ему на то, что доктор запретил ей есть любое приготовленное мясо. И великодушный Чиприани специально для нее изобрел блюдо, ставшее потом очень популярным. Это тончайше нарезанные листья сырой говядины под оливковым маслом с лимоном. Блюдо получило имя великого венецианского художника Карпаччо. Не исключено, что в Рождество семьдесят седьмого года Бродский, очень любивший мясо в любых видах, и Сюзанна Зонтаг лакомились им здесь, в «Харрис-баре».

Вот что известно точно: в один из этих дней она позвонила ему и пригласила посетить вдову известного поэта Эзры Паунда. Известно, что Паунд был субъектом фашиствующим, сотрудничал с Муссолини. Бродский относился к нему неприязненно, однако на встречу со вдовой, известной итальянской скрипачкой Ольгой Радж, пошел. Я говорю об этом визите только потому, что благодаря ему возникло это легендарное название знаменитого эссе Иосифа — *Fondamenta degli Incurabili* — Набережная Неисцелимых. Вот как у него написано. «С фашистами — молодыми или старыми — я, по-моему, никогда не сталкивался, зато со старыми коммунистами имел дело не раз, и в доме Ольги Радж, с этим бюстом Эзры на полу, почуял тот самый дух. От дома мы пошли налево и через две минуты очутились на *Fondamenta degli Incurabili*».

С этой набережной связана одна загадка. Многие считают, что ее не существует. Действительно, вы нигде не найдете этого названия. И все-таки это неправильно. Посмотрите вот сюда. Видите полустертую надпись на облупившейся стене? Второе слово относительно понятно — Инкурабили. А первое почти стерто. Остался фрагмент, что-то вроде «атере». Что бы это значило? Давайте спросим у местных жителей. Вон, видите, старик выходит из дома как раз на набережную...

Ага! Он говорит, что «атере» — это часть слова «затере» — на венецианском диалекте означающее «набережная». Нет, вы только послушайте, как он называет это место! Именно «фундамент дель инкурабили». Стало быть, у Бродского все правильно.

Знаете, тогда он дал мне читать это эссе в рукописи. В первоначальном варианте у него было написано «Набережная Неизлечимых». Ну, просто он знал, что в этом месте когда-то существовал госпиталь, где содержались неизлечимые сифилитики. Я ему сказал, что надо поменять «неизлечимых» на «неисцелимых». Он тут же согласился: да, так лучше. А уже потом новые издатели попросили его изменить название. И в английском варианте эссе стало называться «Watermark» — водяная марка. Кстати, он подарил мне изданный экземпляр этого эссе с дарственной надписью «От неисцелимого Иосифа».

А вот и еще одна достопримечательность. Видите, буквально в ста метрах от набережной Неисцелимых дом под номером 923. Здесь и по сей день живет Роберт Морган, друг Бродского, которому посвящено это эссе, американский художник, однажды приехавший в Венецию да так и оставшийся здесь, покоренный ее красотой. Он и по сей день пишет свои работы и удачно их продает. Они сошлись с Бродским, как ни странно, на общем интересе к истории мировых войн и работе спецслужб. Почему-то Иосифа это интересовало. Короче, с Морганом им было о чем поговорить. Постепенно они подружились и частенько встречались здесь, в кафе «Нико», рядом с подъездом дома Роберта. Кстати, он же привел Иосифа и в

ресторанчик «Локанда Монтин», где висела его картина. Это в двух шагах от дома № 923. Вскоре «Локанда» стала любимым заведением Бродского.

Когда я в очередной раз уезжал в Венецию, он спросил меня, где я обычно обедаю. И со свойственным ему вниманием и дотошностью дал три любимых адреса, среди которых был и этот. Еще один — trattoria «Ла Риветта» — неподалеку от Сан Марко, где и по сей день подают чикетти — маленькие бутербродики, которые Иосиф просто обожал. А последний адрес понравился лично мне больше других — ресторан «Маскарон», неподалеку от церкви Санта Мария Формоза. Там на простых деревянных столах бумажные салфетки, с потолка свисают лампочки на плетеных проводах, а в меню всего три-четыре блюда. Не хочешь — не ешь. Зато, если захочешь, — не пожалеешь. Иосифу нравилась эта непритязательность и отсутствие пафоса, мне тоже.

Ну, вот, пожалуй, и все о набережной Неисцелимых. Посмотрите напоследок через пролив на соседний остров Джудекку. Это, пожалуй, единственное место в Венеции, которое напоминает Неву. Может быть, поэтому оно было дорого ему. Не знаю, он ничего не говорил об этом.

ПАНСИОН «АКАДЕМИЯ», САН-ПЬЕТРО

В первый раз Иосиф приехал в Венецию тридцать пять лет назад, зимой 1973 года. Его встретили и отвезли в его первое венецианское пристанище — пансион «Академия». Об этом у него есть свидетельство в «Набережной Неисцелимых»: «Мы высадились на пристани «Accademia», попав в плен твердой топографии и соответствующего морального кодекса. После недолгих блужданий по узким переулкам меня доставили в вестибюль отдававшего монастырем пансиона, поцеловали в щеку — скорее как Минотавра, мне показалось, чем как доблестного героя, — и пожелали спокойной ночи... Пару минут я разглядывал мебель, потом завалился спать».

Тридцать пять лет назад этому пансиону очень повезло: тут поселился человек, который написал в том же семьдесят третьем свою знаменитую «Лагуну»: «Три старухи с вязаньем в глубоких креслах / толкуют в холле о муках крестных; / пансион «Академия» вместе со / всей Вселенной плывет к Рождеству под рокот / телевизора...». В девяносто третьем я останавливался здесь и послал Бродскому открытку из этого пансиона, чтобы ему было приятно.

Также повезло отелю «Лондра» на набережной Скъявоне: здесь в семьдесят седьмом Иосиф написал стихотворение «Сан-Пьетро» об одноименном венецианском островке, который просто обожал. Здесь очень редко бывают туристы, это такой рабочий рыбацкий район Венеции, чем-то напоминающий любимую им Малую Охту в Питере. Тут старые обшарпанные дома с высокими трубами «фумильоли», старый собор с покосившейся колокольней. С половины пятнадцатого до конца восемнадцатого века он был первым кафедральным собором города. Стихотворение Бродского о знаменитом венецианском тумане — «неббиа»: «...Электричество / продолжает в полдень гореть в таверне. / Плитняк мостовой отливает желтой / жареной рыбой... / За сигаретами вышедший постоялец / возвращается через десять минут к себе / по по пробуравленному в тумане / его же туловищем туннелю»...

Он очень любил бродить по этим улочкам Сан-Пьетро, в северной части Венеции, мимо северной стены «Арсенала», от которой виден остров Сан-Микеле, мимо длинной стены госпиталя к площади Сан Джованни и Паоло: «...держась

больничной стены, почти задевая ее левым плечом и щурясь на солнце, я вдруг понял: я кот. Кот, съевший рыбу. Обратись ко мне кто-нибудь в этот момент, я бы мяукнул. Я был абсолютно, животной счастлив».

Венеция — кошачий город, символ ее — лев, семейство кошачьих. Иосиф сам обожал котов, а его жена Мария звала их домашнего кота Миссисипи и Иосифа — котами. Эй, коты, идите сюда! Что характерно, и тот и другой откликались немедленно. Он очень любил повторять вслед за Ахматовой, как можно определять людей: Мандельштам — кофе — кошка, Пастернак — собака — чай. Сам он, конечно, был «Мандельштам — кофе — кошка». Да и я, честно говоря, ближе к этому, хотя я не могу сказать, что мы были с Иосифом близкими друзьями. Ведь дружба — это отношение равных. Вот с Довлатовым мы дружили. Но в наших отношениях с Иосифом он, конечно же, был, выше. Никогда невозможно было утратить ощущение, что рядом с тобой гениальный человек. Однажды девушка из нашей компании, с которой Бродский был едва знаком, пригласила его на свой день рождения. Это было еще до нобелевки. И он совершенно неожиданно приехал. Человек двадцать толпились в одной двадцатиметровой комнате. Причем девятнадцать человек в одной половине и один — Иосиф — в другой. Там, в его половине, был какой-то круг от света лампы на полу, и он задумчиво чертил по нему ногой. Понимаете, никто не решался к нему подойти и заговорить. Потом я набрался смелости, подошел, и мы заговорили об античной поэзии. В любой компании, где он появлялся, мгновенно становилось ясно: произошло нечто значительное. Таков был масштаб этой личности.

Однажды я спросил его: к кому вы относитесь как к старшему? Он поразмышлял и сказал что, пожалуй, только к двум людям: к Чеславу Милошу и к Леше Лосеву. Хотя Лосев был старше его всего на три года.

Думаю, что и Мария в полной мере понимала, что ее муж — гениальный поэт. Она ведь увидела и услышала Иосифа впервые на его публичном выступлении в Париже. Потом написала ему письмо. И они долгое время переписывались. Не по электронке (тогда еще это не было так распространено), а на бумаге, при помощи конверта, адреса, написанного от руки и обычного почтового ящика. (Кстати, Иосиф так и не освоил компьютер, пользовался пишущей машинкой до конца жизни.) И вот, когда после этой длительной переписки они встретились, Иосиф влюбился сразу же. Он тут же увез ее в Швецию, и через два месяца они поженились. Она потрясающе красива, такая мадонна Беллини с великолепными тяжелыми волосами. Дома они с Иосифом говорили на английском, хотя Мария знала русский (мама у нее из рода Трубецких-Барятинских, а отец — итальянец — Винченцо Соццани был высокопоставленным управляющим в компании «Пирелли»). Когда у Бродских бывали гости из России, они говорили по-русски. И только если разговор приобретал философский характер, Мария извинялась и переходила на английский, так ей было легче. Она прекрасно образованна, окончила венецианскую консерваторию, разбирается в музыке. Однажды я рассказывал Иосифу об Альбано Берго и сообщил ему, между прочим, точную дату его рождения и смерти. Он восторженно: вы что, хотите сказать, что знаете даты рождения и смерти Альбано Берго? Нет, нет, этого просто не может быть! Маша, ты слышишь, он утверждает, что знает по памяти точные даты рождения и смерти Альбано Берго. Проверь, пожалуйста! Этого просто быть не может! Или однажды я обмолвился, что плотность человеческого тела приблизительно равна плотности воды. Что с ним стало! Он стал кричать: да кто вам это сказал! Откуда вы это знаете!

Да, да это было для него очень характерно. Он никак не мог смириться с тем, что кто-то может знать то, чего он не знает. Иосиф был феноменально образованным и

осведомленным человеком. Но с ним бывало такое: он не переносил, если кто-то о чем-то знал больше. Однажды мы поспорили о Чарли Паркере. Он утверждал, что Паркер играет на саксе-теноре, но я-то знал точно, что на альте. Короче, поспорили на бутылку хорошего вина. Через некоторое время приношу ему доказательство, но бутылку хрен получил. Он, видите ли, сделал вид, что спора вообще не было: ужасно не любил проигрывать.

ПАЛАЦЦО МАРЧЕЛЛО

Это дворец на Рио де Верона принадлежит графу Джироламо Марчелло, представителю одного из самых видных патрицианских родов Венеции. У него в предках два композитора, именем одного из которых — Бенедетто Марчелло — названа Венецианская консерватория. Здесь Иосиф Бродский останавливался в последние годы своих приездов в Венецию. С графом его познакомила Мария, они подружились. Судя по всему, Иосифу было хорошо здесь. По его рекомендации и я однажды встретился с графом и был зван в гости. Это было сильным впечатлением, поскольку я оказался внутри настоящего венецианского палаццо. На первом этаже — он нежилой — располагалась кабина для гондолы. По венецианской традиции гондолой владеет лодочник, а знатный человек владеет кабинкой, на которой изображены геральдические знаки семьи и рода.

Он указал мне на портрет далекого предка на стене: это копия, подлинник — в галерее Уфицци, поскольку автор — Тициан. Одна комната верхних этажей была расписана фресками. Он махнул рукой: безделица, всего лишь восемнадцатый век. В библиотеке полки с архивами разделены на две части: те, что «до Наполеона», и те, что «после». Я держал в руках «Божественную комедию» 1484 года издания и «Декамерон» 1527 года. Там были пометки читателя восемнадцатого века...

Одно из последних стихотворений Бродского — «С природы» — написано здесь и посвящено владельцу дома Джироламо Марчелло: «...Здесь, где столько / пролито семени, слез восторга / и вина, в переулке земного рая / вечером я стою, вбирая / сильно скукожившейся резиной / легких чистый осенне-зимний, / розовый от черепичных кровель / местный воздух, которым вдволей / не надышишься, особенно напоследок! / пахнувший освобождением клеток / от времени...»

Это уже не просто предчувствие смерти, это знание о ней.

САН-МИКЕЛЕ

Все говорят, что он не жалел себя: две операции на сердце, а курить не бросил и от крепкого кофе не отказался. У меня на этот счет есть свое соображение. Я все-таки неплохо знал Иосифа. Понимаете, человек, который однажды нашел в себе силы встать из-за парты и навсегда уйти из школы, человек, который позволил себе быть зависимым только от своего дарования и ни от кого и ни от чего больше, человек с действительно редким чувством свободы, — такой человек не хотел и не мог себе позволить зависеть даже от собственного тела, от его недугов и немощей. Он предпочел не подчиниться и тут.

Место для захоронения Иосифа выбрала Мария. Я имею в виду не только кладбище на острове Сан-Микеле, но и саму географическую точку — Венецию. Это как раз на полпути между Россией — родиной — и Америкой, давшей ему

приятно, когда родина прогнала. Ну и потом он действительно любил этот город. Больше всех городов на Земле.

Он ведь не был захоронен в Нью-Йорке. На кладбище в Верхнем Манхэттене была ниша в стене, куда поставили гроб и закрыли плитой. Через год гроб опустили в землю, здесь, на Сан-Микеле. У Иосифа тут замечательное соседство — Дягилев, Стравинский. На табличке с указателями направления к их могилам я когда-то от руки написал фломастером и имя Бродского. До сих пор эта надпись сохранилась.

К церемонии перезахоронения Иосифа сюда, в Венецию, на Сан-Микеле съехалось много народу, его друзей, близких. Президент Ельцин прислал роскошный венок. Правда, какой-то идиот из совсем уж перегретых антисоветчиков переложил этот венок на соседнюю могилу, которая оказалась могилой Эзры Паунда. И грустно, и смешно.

В тот вечер перезахоронения все собрались в палаццо Мочениго на большом канале, которое арендовали американские друзья Марии. И это был замечательный вечер, поскольку боль утраты уже успела притупиться, и все просто общались, выпивали, вели себя так, словно он просто вышел в соседнюю комнату. Кстати, о комнатах. Этот вечер проходил как раз в тех комнатах, где жил когда-то Байрон.

Через два дня мы с Лосевым, Алешковским и Барышниковым приехали на Сан-Микеле, к его могиле. Еще раз помянули его, выпили... Миша взял метлу и аккуратненько все подмел вокруг. До сих пор помню Барышникова с метлой у могилы Иосифа...

А надгробие сделал хороший знакомый Иосифа еще по Нью-Йорку художник Володя Радунский, они жили по соседству, их дети играли вместе. Получилось скромное, изящное, в античном стиле надгробие с короткой надписью на плите на двух языках — русском и английском: «Иосиф Бродский Joseph Brodsky 24 мая 1940 г — 28 января 1996 г.». Правда, на обратной стороне плиты есть еще одна надпись на латыни — цитата из его любимого Проперция: «Letum non omnia finit» — не все кончается со смертью».

...А если так, то что же остается?

Остается чистый, розовый от здешних черепичных крыш воздух, несущий запах мерзлых водорослей, чешуйчатая рябь водички в лагуне перед палаццо Дукале, бирюзовый отсвет каналов в тихом Каннареджио, теплый мрамор стен, помнящий тысячи прикосновений, колокольный звон, который будит вас по утрам...

Вы хотели бы встретиться с Бродским? Извольте. Он здесь. Сделайте только шаг.

АРОМАТ ДУХОВ «ШАЛИМАР»

Помните, как начинается «Набережная Неисцелимых»? «Много лун тому назад доллар равнялся восьмистам семидесяти лирам, и мне было тридцать два года. Планета тоже весила на два миллиарда душ меньше, и бар той Стацьоне, куда я прибыл холодной декабрьской ночью, был пуст. Я стоял и поджидал единственное человеческое существо, которое знал в этом городе. Она сильно опаздывала».

Ну, Стацьоне, это понятно: венецианский вокзал Санта-Лучия, куда Бродский прибыл впервые в 1973 году на поезде из Милана. Меня стало занимать, кто это — «она», которая «сильно опаздывала»? Тем более что «ей» в «Набережной» уделено немало места. Читаем дальше...

«Тут я увидел единственное человеческое существо, которое знал в этом городе; картина была сказочная... Рядом со мной картина в нутрии объясняла почти

шепотом, что везет меня в отель, где сняла мне номер, что, наверно, мы увидимся завтра или послезавтра, что она хотела бы познакомиться меня с мужем и сестрой. Мне нравился ее шепот, хотя он гармонировал скорее с темнотой, чем с самим сообщением, и я ответил таким же разговорщическим голосом, что всегда приятно повидать вероятных родственников. Тут я несколько пережал, но она засмеялась так же вполголоса, приложив к губам руку в перчатке коричневой кожи».

И еще.

«Мы высадились на пристани Академия, попав в плен твердой топографии и соответствующего морального кодекса. После недолгих блужданий по узким переулкам меня доставили в вестибюль одноименного, удалившегося от мира пансиона, поцеловали в щеку — скорее как Минотавра, мне показалось, чем как доблестного героя — и пожелали спокойной ночи. Затем моя Ариадна удалилась, оставив за собой благовонную нить дорогих (не «Шалимар» ли?) духов, быстро растаявшую в затхлой атмосфере пансиона...»

Поначалу я подумал, а не все ли равно, кто она, это ли важно? Но потом, узнав, что именно Венеция стала для Бродского любимым местом, куда он возвращался каждый год до самой смерти, я понял, что разгадать, как на самом деле зовут его Ариадну, вручившую ему клубок волшебных нитей, навсегда соединивших его с городом в лагуне, — просто необходимо. Я стал читать дальше.

«Впервые я увидел ее несколько лет назад, в том самом предыдущем воплощении: в России. Тогда картина явилась в облике славистки, точнее специалистки по Маяковскому. Последнее чуть не зачеркнуло картину как объект интереса в глазах моей компании. Что этого не случилось, было мерой ее обозримых достоинств. Сто восемьдесят сантиметров, тонкокостная, длинноногая, узколицая, с каштановой гривой и карими миндалевидными глазами, с приличным русским на фантастических очертаниях устах и с ослепительной улыбкой там же, в потрясающей, плотности папиросной бумаги замше и чулках в тон, гипнотически благоухая незнакомыми духами, — картина была, бесспорно, самым элегантным существом женского пола, сумасводящая нога которого когда-либо ступала в наш круг. Она была сделана из того, что увлажняет сны женатого человека. Кроме того, венецианкой».

Н-да... Я не знаю, кого еще Бродский так описал в прозе. К тому же, мой уважаемый читатель, мне показалось, что Иосиф Александрович равнодушен к ней. А вот и доказательство — явное проявление ревности. «В тот раз я видел ее дважды или трижды; действительно был представлен сестре и мужу. Первая оказалась очаровательной женщиной: высокая и стройная, как моя Ариадна, и, может быть, даже ярче, но меланхоличнее и, насколько я могу судить, еще замужнее. Второй, чья внешность совершенно выпала у меня из памяти по причине избыточности, был архитектурной сволочью из той жуткой послевоенной секты, которая испортила очертания Европы сильнее всякого Люфтваффе. В Венеции он осквернил пару чудесных кампо своими сооружениями, одним из которых был, естественно, банк, ибо этот разряд животных любит банки с абсолютно нарциссистским пылом, со всей тягой следствия к причине».

Все, больше о ней ни слова. Однако для меня было вполне достаточно, чтобы начать ее искать. Кого же, собственно, я разыскивал? Героиню одного из самых блистательных эссе Иосифа Бродского. Как ее зовут? Не знаю. Ее адрес? Неизвестен. Может быть, телефон или электронная почта? Ни того, ни другого.

Все, что я мог бы рассказать вам на эту тему, достаточно утомительно и отдает скорее технологией или рутинной, нежели драйвом последовательных открытий. Поэтому я сразу перейду к одному из весенних вечеров, когда в моей телефонной трубке раздался тихий голос Марии Джузеппины Дориа де Дзулиани — так ее

звали. Через день мы встретились с ней в ее однокомнатной московской квартирке, а примерно через месяц продолжили наш разговор в ее венецианском палаццо.

...Мне открыла дверь женщина в черном, изящная, безукоризненно одетая. Легкий аромат духов («не «Шалимар» ли?»). Она усадила меня на диван, сама села напротив в кресло.

— Вообще-то я не даю интервью русским журналистам, особенно о Бродском. Когда-то давно я сделала это и потом пожалела. Но в вашей просьбе было что-то такое... Что ж, давайте попробуем.

— *Когда вы познакомились с Бродским? Как это случилось?*

— Сначала с ним познакомилась моя подруга Анни Этельбойм. По-моему, году в шестьдесят девятом. Знакомство произвело на нее достаточно сильное впечатление. Во всяком случае, когда в семьдесят втором году она узнала, что я собираюсь в Россию, то принесла мне пару джинсов и попросила обязательно передать их в Ленинграде молодому поэту Бродскому. Я согласилась. Дело в том, что мы с моей подругой собирались объехать все русские столицы: Киев, Новгород, Москву, Петербург. Мне было это интересно, поскольку я училась на отделении славистики в Венецианском университете, уже бывала в России, к тому времени у меня были там друзья, которые входили в круг Бродского. Но с самим Бродским я не была знакома. Короче говоря, я взяла эти джинсы и мы с подругой отправились в Россию. В Ленинграде я позвонила по телефону, который мне дала Анни. Иосиф ответил, и мы договорились встретиться в тот же день, в шесть часов вечера у него дома. В то время это был достаточно мрачный, темный город. Добавьте к этому, что в феврале семьдесят второго был просто лютый мороз. Мы жили в гостинице «Европейской», в огромных, по-советски обставленных номерах. Добираться до улицы Пестеля пришлось на автобусе. Мы попали как раз в час пик, когда рабочие возвращались домой после смены и ехали сдавленные в лепешку. Ну, не важно, в конце концов мы добрались, вошли в эту невероятную квартиру из полутора комнат, которая так хорошо описана в его эссе... Познакомились с родителями, которые тут же куда-то исчезли. И это тоже было вполне по-советски. Ну, потом мы стали разговаривать. Обо всем. И о литературе, об искусстве, просто о жизни. Опомнилась, когда на часах было уже два ночи. Разумеется, ни на автобусы, ни на такси рассчитывать было невозможно. Надо было идти по морозу пешком. Иосиф, конечно же, вызвался нас проводить. Так мы и шли по ночному холодному Ленинграду, продолжая разговор. Дошли до Невского. До гостиницы оставалось совсем немного, когда появились двое в штатском. Откуда они возникли, я, честно говоря, не помню. Иосиф успел шепнуть мне: ни слова по-русски! А дальше произошло вот что: на наших глазах эти гэбэшники схватили его и стали орать на него матом. Даже я, слышавшая к тому времени немало на русском, многое не смогла понять. Из того, что поняла — недовольство тем, что он общается с иностранцами. Хотя и это нормальному человеку понять трудно. Скоро они прекратили орать и просто увели его куда-то. Два дня от него не было никаких вестей. Мы с подругой не знали, что делать. Так в неведении и отправились в Киев.

— *А как же джинсы?*

— Ну, конечно, джинсы были Иосифу торжественно вручены и произвели на него должное впечатление.

— *И что же было дальше?*

— Мы приехали из Киева в Москву и остановились в гостинице «Бухарест», которой нынче уже нет. Подруга улетела в Италию, а я осталась в Москве еще на неделю, поскольку должна была заниматься в Ленинской библиотеке. И вот спустя

три дня после отъезда подруги я завтракала в гостинице, когда почувствовала, что кто-то подошел к моему столу. Поднимаю голову — Иосиф! Боже, откуда?!

Он, ни слова не говоря, берет меня в охапку и тащит на улицу. Мы оба оказываемся на морозе без верхней одежды. Он говорит быстро и горячо, как сумасшедший: ты должна мне помочь! Они предложили мне покинуть страну, дали три месяца. Я уеду в Австрию, оттуда позвоню тебе. Хочу хоть немного побыть в Венеции. Я сказала: конечно, Иосиф, какой разговор, приезжай.

— *В следующий раз вы встретились уже на Станционе?*

— Нет, мы виделись еще раз в России, в Ленинграде. Это было уже накануне его отъезда. А вот следующая встреча была действительно на Станционе.

— *Когда вы прочитали «Набережную Неисцелимых»?*

— В восемьдесят девятом. В Венеции во время рождественских каникул состоялась презентация этой книги. Я не знала об этом. Мне позвонила сестра. Ее приятельница была на презентации, взяла экземпляр, открыла, стала читать и... тут же позвонила ей: там про Мариолину! Ну а сестра позвонила мне. Вскоре экземпляр книги был у меня в руках. Я прочитала.

— *И...*

— Это замечательное эссе.

— *А то, что касается вас?*

— По большей части он все придумал. Например, про мужа. Во-первых, он не был армянином. Он — родился в Падуе. И зовут его Гвидо Рункали. Во-вторых, он никогда не был архитектором и к строительству того самого банка не имел никакого отношения. Гвидо возглавлял строительную фирму и был настоящим красавцем: все говорили, что он похож на Гарри Белафонте...

— *А вам не показалось, что он набросился на вашего мужа из ревности?*

— Из ревности?

— *Ну да. Ведь он был влюблен в вас.*

— Кто это вам сказал?

— *Никто. Просто это видно из текста.*

— Вы так считаете?

— *А как считаете вы?*

— Возможно, я ему нравилась, еще там, в Ленинграде. Но о любви вряд ли могла идти речь.

— *Ну, хорошо. В тексте «Набережной» вы узнали себя?*

— Да, конечно. Он все правильно описал. И как он меня ждал, и как я приехала за ним, и как мы плыли на вапоретто к пристани Академия. Правда, шуба у меня была не из нутрии, а из бобра, но, возможно, он просто не разбирался в этом.

— *Он действительно позвонил вам предварительно?*

— Да, Иосиф позвонил из Америки и сказал, что хочет провести в Венеции рождественские каникулы. Просил заказать ему номер в отеле и встретить его, поскольку он никогда раньше здесь не был.

— *И как вы проводили время? Вы были его первым гидом в этом городе?*

— Весьма недолго.

— *Почему?*

— Ну, потому что, говоря по-русски, он стал ко мне приставать, а мне это не очень-то нравилось.

— *Вот как?*

— Представьте себе. Однажды наступил момент, когда я вынуждена была сказать ему об этом достаточно резко.

— *И...*

— Мы поссорились.

— *И он остался один в неизвестном городе?*

— Нет, конечно. Я поручила его своей ближайшей подруге Джованне.

— *Вы действительно познакомили его с мужем и сестрой?*

— Это правда. Он пришел ко мне домой, оглядывал интерьер и постоянно говорил: Мариолина, это кич, и вот это тоже кич. Это было так смешно. В конце концов я ему сказала: Иосиф, ну что ты заладил: кич да кич? Ты хоть знаешь значение этого слова? Много лет спустя он написал мне письмо, в котором были такие строчки: «Kitch — вот что объединяет аристократа и пролетария. Рассматривай это письмо, как попытку преодолеть классовый барьер...»

— *Какое впечатление на него произвела Венеция?*

— Несмотря на нашу размолвку, он влюбился в нее сразу. Я его понимаю, потому что тоже обожаю этот город. Знаете, однажды он прислал мне открытку, кажется из Нью-Йорка: «Целую тебя и твой город, где все-таки был счастлив».

— *Правда ли, что в тот, ленинградский период, вы занимались творчеством Маяковского?*

— Правда. Я даже сделала книгу переводов Маяковского, которая выдержала тринадцать переизданий. Секрет прост: я была хорошо знакома с Лилей Брик, которая помогала мне и очень многое рассказала.

— *После вашей первой встречи в Венеции Бродский много раз сюда возвращался. Неужели вы так и не встретились ни разу?*

— Только один раз. Это случилось за полгода до его смерти — двадцать восьмого июля девяносто пятого. Был день рождения моего младшего сына. Я пригласила его в отель «Гранд ченэл энд Монако». Там была терраса с живописным видом на большой канал и церковь Санта Мария дела Салюте. Мы пришли и обнаружили на террасе большую русскую компанию. Оказалось, что все они приехали на открытие выставки частных коллекций. Я не хотела никаких шумных компаний в этот день, и мы отказались от террасы, просто сели за столик в ресторане, стали ужинать. В какой-то момент сын сказал мне: «Мама, там, в глубине зала какой-то господин все время смотрит на тебя». Я оглянулась. Это был Иосиф. Он увидел, что я заметила его, поднялся и подошел к нашему столику. Вдруг заговорил со мной по-английски. Я прервала его: «Иосиф, ты что, с ума сошел, с каких это пор мы с тобой говорим по-английски?» Он смутился, сказал: «Извини, я думал, что ты обиделась на меня за “Набережную”». Я сказала: «Нет, конечно, я не обиделась. Более того, я благодарна тебе: теперь я навсегда стала персонажем мировой литературы». Казалось, он опешил: «Так ты правда не обиделась?» Я подтвердила: «Правда, Иосиф, я действительно тебе благодарна, ты написал блестящее эссе». Он улыбнулся: «Я рад, я очень рад». Сын смотрел на нас, не понимая ни слова, но догадываясь, что происходит что-то важное. На самом деле так мы помирились с Иосифом, простили друг другу все. Через полгода его не стало.

— *Последний вопрос, точнее просьба. Вы обещали назвать мне адрес того самого дома, выйдя из которого, Бродский попал на набережную Неисцелимых.*

— Это дом, в котором когда-то жил поэт Эзра Паунд и его жена Ольга Радж. До галле Кверини, где вы и найдете этот дом, — пятнадцать минут ходьбы.

Я поблагодарил хозяйку палатки и отправился на поиски галле Кверини. Через полчаса я стоял перед дверью с мемориальной доской, из которой следовало, что здесь жил поэт Эзра Паунд. Именно сюда и пришел Бродский вместе с Сюзан Зонтаг. В тот далекий вечер хозяйка дома, вдова Паунда Ольга Радж, пыталась убедить именитых гостей, что ее муж вовсе не был антисемитом и не так уж горячо разделял убеждения национал-социалистов из третьего рейха...

Как и Бродский тогда, я повернулся к дверям спиной, сделал два шага по галле Кверини, повернул налево и через каких-нибудь двести метров оказался на набережной Неисцелимых — знаменитой *Fondamenta degli incurabili*.

Только в 2009 году этой набережной стараниями мэра Венеции Массимо Каччари и друзей Бродского вернули имя *incurabili*. Только теперь на старинной кирпичной кладке стены тут прикреплен мраморная мемориальная доска, на которой высечено по-итальянски и по-русски: «Иосиф Бродский, великий русский поэт, лауреат Нобелевской премии, воспел Набережную Неисцелимых».

Я постоял в этом месте, поглядел на пролив Джудекка в закатном солнце и с грустью ощутил, что история с поисками набережной и поисками Бродского в Венеции закончилась этой мраморной точкой на стене старинной кирпичной кладки.

Но все-таки должно же что-то оставаться в финале нашей истории?

Ну да, хотя бы вот эта набережная с возвращенным ей названием «Неисцелимых». Благодаря Бродскому она будет напоминать теперь не только о чуме, выкосившей тут когда-то полгорода, но и о возлюбленном Отечестве, которое и спустя сорок лет после изгнания Бродского всё так же изощренно жестоко и немилосердно к своим согражданам и всё так же не исцелилось от хронического презрения к своим подданным. И о том немногом, что всегда остается на доньшке любой человеческой жизни: в конце ее, как и в начале — слово, точнее два. «Спасибо» и «Прости».

ДНЕВНЫЕ СНЫ

В какой-то момент я понял, что сплю. Вот мой сон: прямо от меня, через небольшой мостик горячим мрамором уходила вдаль набережная Неисцелимых, слева — через пролив Джудекка, сверкавший солнечными бликами, — виднелась великолепная палладианская церковь Реденторе, еще левее — тоже творение Палладио — остроконечная крыша колокольни Сан-Джорджо Маджоре, позади сквозь туманную знойную дымку проступали контуры величественного и прекрасного собора Санта Мария делла Салюте. Ударил далекий колокол на кампаниле Сан-Марко. Но и он не разбудил меня. Впору было ущипнуть себя, огреть пощечиной, крикнуть себе в ухо: эй, ты, это же Венеция, очнись же, наконец! Но нет: дыхание мое оставалось ровным, сердцебиение — без признаков учащения, полуоткрытые глаза заворуженно следили за солнечными зайчиками на поверхности лагуны. Я грезил глубоким беззаботным детским сном, прекрасные картины медленно протекали передо мною, не оставляя ни малейшего следа в моей притихшей и свернувшейся калачиком душе.

Всякий раз, выходя из дверей аэропорта Марко Поло, уже много лет подряд я говорю себе одно и то же: ну, вот, сон опять начинается. Сказать, что этот сон возвращается ко мне с частотой и настойчивостью наваждения было бы неправильным. Правильным было бы сказать наоборот: я возвращаюсь к нему с назойливостью зависимого и регулярно мучаю это прекрасное сновидение своим присутствием.

Поначалу это состояние казалось мне постыдным, я не мог понять его природу. Но потом стал читать книги о своем любимом городе и вот что обнаружил: достаточно большое количество людей, да каких — не чета мне — впадали в анабиоз, оказавшись здесь. Вот Сергей Дягилев: «Бог создал сны и подарил способность мечтать. Отсюда весь мистицизм и вся поэзия. Но есть сказка и наяву. Она не принадлежит «Тысяче и одной ночи», ибо еще более волшебна по смеси колдовства с явью. Граница эта в Венеции также заволокнута в туманы, как и очертания

дворцов и берегов лагун...» Вот Генри Джеймс: «Венеция — словно Венеция снов, и удивительно, остается Венецией снов больше, чем городом сколько-нибудь существующей реальности». Вот Марсель Пруст: «Венеция была городом, который, я чувствовал, часто снился мне раньше». Вот Диккенс: «Я снова опустился в лодку, и сон продолжился». Вот Уильям Хауэллс: «Ни один другой город не кажется мне столь похожим на сон и нереальным». Байрон: «Ее пейзаж похож на сон». Райнер Мария Рильке: «Этот город как сон». Вот Бенджамин Дизраели: «Жизнь венецианца похожа на сон». Вот Джордж Саймонд: «Когда находишься в Венеции, словно видишь сон». Джонн Рескин: «Похожая на сон, туманная, но великолепная». Жорж Санд: «Город моих снов». Фрэнсис Троллоп: «Прекрасный сон наяву». Марк Твен: «Мы все время ходили как во сне». Валерий Брюсов: «Все грезят древние палаты, являя мраморные сны». Питер Акройд: «Венеция до сих пор обладает странной властью над человеческим воображением. Прогуляться по городу — все равно, что оказаться в сбывшейся фантазии». Борис Пастернак: «Я не сразу понял, что изображение Венеции и есть Венеция. Что я — в ней, что это не снится мне».

Ну, что, достаточно? Лично для меня во всем этом перечне великих не хватало только одного эксперта, знавшего и любившего Венецию, как никто другой. Это он написал о любимом им городе: «Так сужается улица, вьющаяся как угорь, / И площадь — как камбала», «...и дворцы стоят, как сдвинутые пропитры, / плохо освещены», «...на площадях, как «прощай» широких, / в улицах узких, как звук «люблю»...

Я прочел его венецианские стихи: ни слова о снах, прочел его знаменитое эссе «Набережная Неисцелимых» — тоже ничего. И вот однажды я пришел в гости в палаццо на кампо Сан-Барнаба, где роскошь соседствовала с деловитостью красавицы хозяйки, сохранившей манеры светской львицы. Мы беседовали в ослепительной гостиной, потом перешли в библиотеку с живописными оригиналами на стенах и с потертой обивкой старинной мебели. Она открыла секретер и извлекла на свет четыре конверта. «Это письма Иосифа, те, что сохранились у меня, — сказала она. — Вы можете прочесть, тут нет ничего такого...»

В необычайном волнении я открыл первый конверт, второй. Из него выпала открытка. Знакомый почерк: «Так что все довольно терпимо, если не считать постоянного ощущения какой-то психической анестезии, как будто мозг все время под каким-то наркозом: т. е. вижу, что происходит какая-то кошмарная операция, а боли не чувствую...» Знакомая подпись — Иосиф Бродский. Он писал ей из Венеции. Ну, вот, тогда-то все встало на свои места. И он тоже испытывал это удивительное ощущение.

Так в чем же тут дело? Скорей всего у каждого, приезжающего сюда, рано или поздно наступает момент, когда сознание отключается автоматически, помимо его воли, как при болевом шоке; какие-то предохранители срабатывают в человеке, оберегая его от короткого замыкания с этим великолепием. «...И рвутся мысли, как ремни мешка, от груза красоты». Не сработай этот предохранитель — и случится непоправимое: вы можете впасть в пожизненную зависимость от этой красоты и гармонии, отрыв от которых будет грозить вам тяжелейшей травмой. Но и это не вся правда.

С первых секунд в этом месте вы попадаете в атмосферу глубокой тишины и прозрачного, слегка дрожащего воздуха. Венеция — единственный город в мире, где изобретение колеса не имело бы смысла: тут нет автомобилей. И извечное напряжение спины пешехода, чувствующего позвоночником скорое приближение конского табуна в виде восьмицилиндрового двигателя, упакованного под капот, постепенно пропадает само собой. Медленная вода лагуны с едва заметными ритмичными всплесками у набережных с неизменными солнечными осколками на ее

поверхности вместе с тишиной и рыжеватым воздухом, пахнущим водорослями и опавшими листьями, неизбежно вернут вам давно забытое внутриутробное ощущение покоя и счастья. У Акройда об этом сказано: «Присутствие воды порождает бессознательные фантазии и желания, сравнимые с нежностью и теплом материнской утробы». У Пастернака: «И неужель в грядущем веке / Младенцу мне — велит судьба / Впервые дрогнувшие веки / Открыть у львиного столба?».

Оттого прощание с Венецией сравнимо с ужасом рождения, с утраченным раем, с реинкарнацией в повседневную реальность, с возвращением спине позвоночного кошмара, глазу — прелестей московского быта, а уху — рева авто. Вам, даже умудренному опытом таких перерождений, потребуется немалое время, чтобы пережить этот шок. Лучше, когда Венеция исчезнет перед вами, укутанная густым туманом с моря — неизменной неббией, пропадет, как будто и не существовала, останется сном. «...Сколь же радостней прекрасное вне тела: / ни объятья невозможны, ни измена...»

НИКТО

В Венеции, напоминавшей Бродскому Ленинград, маска — переходя на общедоступный язык — была таким же ежедневным «гаджетом», как нынешние смартфон или планшет. Врачи, наученные чудовищной атакой чумы, носили маски, набитые специальными травами, чтобы не заразиться от пациентов. Маска стареющего любовника или любовницы скрывала следы неумолимого времени и неумеренного образа жизни, дож, выходящий из дворца, обязан был надевать маску, чтобы не узнали подданные. В этом маленьком городке, где большинство лиц узнавалось легко, только маска позволяла забыть о цеховой принадлежности, о профессии, о достатке или бедности, о несправедливости судьбы, об исковерканной биографии... Маска позволяла чувствовать себя тем, кем обладатель ее хотел быть. Она с необычайной легкостью и хотя бы на время дарила человеку шанс новой судьбы и возможность сохранить свое истинное лицо. Может быть, поэтому публично узнать человека в маске считалось тут верхом неприличия. Как писал Акройд: «В Венеции изгнанник мог расстаться со своей идентичностью или скорее мог приобрести новую идентичность». Словом, только здесь, выйдя на улицу и встретив прохожего, ты, равно как и встречный, не получал ответ на простой вопрос «Кто это?», точнее, ответ мог быть только один — «Никто».

В этом городе с установленным правом анонимности уже давно никто не носит масок. Но воспитанная веками традиция незаметности, непроницаемости, слитности сделала маской стиль поведения, образ жизни венецианцев и тех, кто желал бы стать таковыми хотя бы на время. Как известно, здесь нет автомобилей, оттого отечественные владельцы «Роллс-Ройсов», «Майбахов», «Мерседесов» и «Бентли» тут напрочь лишены возможности «оттопыриться» среди окружающих. Разве что надеть на бритую голову мигалку с крякалкой. Но таких пока не видно и не слышно. А видно только пешеходов в сотканых из местного воздуха масках венецианцев.

*И восходит в свой номер на борт по трапу
постоялец, несущий в кармане граппу,
совершенно никто, человек в плаще...*

Этот постоялец, этот никто в плаще — Иосиф Бродский. Это он о пансионе «Академия», в котором жил, когда приехал в Венецию впервые. «Все отдавало

приездом в провинцию — в какое-нибудь незнакомое захолустное место — возможно, к себе на родину, после многолетнего отсутствия. Не в последнюю очередь это объяснялось моей анонимностью, неуместностью одинокой фигуры на ступеньках Стасьоне...»

Анонимность, маска незаметного — для него условие счастливого существования. Как для человека, щедро одаренного Создателем. Это бездари надо непременно выделиться чем-то в толпе себе подобных. У Бродского достаточно внутреннего света, чтобы внешне быть никем, неотличимым от остальных.

В один из первых приездов в Рим он не спешит прогуляться по вечному городу. Он садится за стол и несколько часов стучит на пишущей машинке — отвечает на письма. До тех пор пока не почувствует, что вошел в ритм местного жителя, что шелуха туристического ажиотажа отпала. И тогда в непроницаемой маске римлянина он отправляется на виа и пьяцца. Когда он вынужденно оказался в эмиграции, то строго сказал себе: веди себя так, как будто ничего не произошло. Ему претила распространенная ментальность эмигранта. Он терпеливо устанавливал в себе ритм и мироощущение местного жителя, американского «никто», анонимного по определению.

Откуда он узнал, этот человек в плаще, абсолютный «никто», как уберечь себя и свой дар от кислотной среды публичности? Боратынский ли шепнул ему, как сохранить «необщее выражение лица» за маской анонимности? Я не знаю. Я, как и все желающие, могу судить лишь о некоторых результатах. Вот они.

*...где стопа следа
не оставляет, как челн на глади
водной, любое пространство сзади,
взятое в цифрах, сводя к нулю,
не оставляет следов глубоких
на площадях, как «прощай», широких,
в улицах узких, как звук «люблю».*

Еще.

*...и подъезды, чье небо воспалено ангиной
лампочки, произносят «а».*

Еще.

*...улица, вьющаяся как угорь,
и площадь — как камбала.*

Это только венецианские строфы. То, что сохранилось под маской.

«ПОВЗВОНИТЕ МНЕ ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТОГО ЯНВАРЯ»

Несколько лет назад в питерском Фонтанном доме работала выставка личных вещей Иосифа Бродского, привезенных сюда его вдовой Марией Соццани. По замыслу организаторов экспозиции в пространстве нескольких залов располагались большие белые кубы со встроенными в них мониторами. А на экранах мониторов

непрерывно шел фильм, в котором Иосиф Александрович вместе со своим другом Евгением Рейном гулял по любимой Венеции, с удовольствием рассказывал об этом городе, о поэзии, о Боратынском, о Вивальди, о Беллини и Карпаччо, о своей молодости, о Ленинграде той поры... На одном мониторе фильм заканчивался и начинался на другом. Я, зачарованный этим зрелищем, так и переходил от одного куба к другому, пока не посмотрел весь этот фильм. А потом пошел к организаторам выставки и спросил: что это было? Мне назвали авторов фильма — Елену Якович и Алексея Шишова. В ту пору эти имена не сказали мне ни о чем. Но минуло время, я узнал, что фильм «Прогулки с Бродским» получил «Тэффи», познакомился и смею надеяться, подружился с Леной Якович. Теперь я знаю, что лучшего фильма с Бродским и о Бродском не существует. Эти венецианские прогулки с великим поэтом само время поместило на золотую полку нашего документального кино. И вот Лена написала книжку о том, как снимался этот фильм. Книжку я купил, мы встретились. В результате у меня остался ее автограф и ответы на мои вопросы.

— Как возникла идея, как вам пришло в голову снять фильм с Бродским в Венеции?

— Вряд ли я смогу предъявить вам какие-то очевидные и убедительные мотивы возникновения такого замысла. Во-первых, в то время я не имела никакого отношения к телевидению, работала в «Литературной газете». Во-вторых, поэт Бродский не был моей путеводной звездой. Конечно, я знала, что он — замечательный поэт, но его стихами не зачитывалась, его эссеистикой не увлекалась. Так как же все случилось? Вот именно, что случилось. Сначала позвонил мой приятель, который в ту пору работал в архивах ЦК КПСС и сообщил, что среди открытых материалов много интересного о наших современных писателях. Я назвала несколько имен, которые меня интересовали, в том числе Бродского. Потом, изучая эти материалы, я с удивлением обнаружила документы, в которых советское партийное начальство панически решало, как им реагировать на присуждение Бродскому Нобелевской премии, и многие другие забавные и печальные свидетельства времени, связанные с этим именем. Я подготовила публикацию для «Литературки» и позвонила Иосифу Александровичу в Америку, чтобы получить его комментарий, что называется, из первых рук. Мы поговорили, и в финале этого разговора, видимо, под впечатлением от услышанного, я почему-то сказала ему: а давайте мы о вас фильм снимем. Он как-то смущенно ответил: ну, возможно, как-нибудь... То есть не отказался. И это у меня в голове засело. Потом с этой идеей я отправилась к Евгению Рейну, его ближайшему другу. Он отнесся к моему предложению с большим энтузиазмом. Вот так и возникла идея прогулок с Бродским по Венеции.

— Сколько дней вы провели вместе в Венеции?

— Шесть дней. На съемки ушло пять дней. По истечении пятого дня мы утопили нашу камеру в канале. Поэтому в последний день просто разговаривали.

— Как проходили ваши прогулки? Где они начинались и где заканчивались?

— Начинались всегда на Сан-Марко, главной площади Венеции у кафе «Флориан» — мировой достопримечательности. А потом... Потом все наши сценарные планы уничтожались в пух и прах. Бродский брал все в свои руки и просто водил нас по его любимой Венеции, показывая нам то, что нравилось ему самому. Ну, например, он говорил: а пойдёмте, я покажу вам Арсенал. Ну, конечно, отвечали мы. Поскольку сами ничего в Венеции не знали, и нам все было интересно, особенно когда наш гид сам Иосиф Александрович Бродский. Правда, однажды, на второй день съемок, у него заболело сердце. Мы предложили съемки отменить, но он не согласился: ничего-ничего, как-нибудь. Тем не менее мы уговорили его приступить на полпути до Арсенала в каком-то ресторанчике на набережной Сьявоне.

В результате мы просидели там целый день. Он непрерывно курил, держался за сердце и поразительно интересно рассказывал о Ленинграде той поры, о возможном (точнее — невозможном) возвращении в город его юности, о ранних стихах, об Ахматовой...

— *И все-таки однажды вы дошли до его любимой набережной Неисцелимых.*

— Да, он привел нас туда, на берег пролива Джудекка. Моросил дождь, и хотя мы были с зонтами, все же предпочли укрыться в кафе. Оно называлось «Омбра» — «Тень» в переводе. Вот в этой «Тени» мы и записали его монолог о Боратынском о венецианской лагуне, о русской поэзии вообще.

— *А свои стихи в вашем фильме он читает в зале «Атенио Венето».*

— Да, это знаменитый мемориальный зал рядом с не менее знаменитым театром «Ла Фениче». Там потрясающие фрески Гварли, по-моему. В этом зале в 1974 году проходило бьеналле несогласных, где Бродский познакомился с Галичем и где он впервые в Венеции публично читал свои стихи.

— *Между прочим, он написал об этом чтении. Хотите прочитать?*

— Давайте, очень интересно.

— *Так вот, он писал: «Представьте себе этот зал, эта живопись, полумрак. И вдруг я, читая свою «Лагуну», почувствовал, что стою в некоем силовом поле. И даже добавляю нечто к этому полю. Это был конец света! И поскольку все это было в твоей жизни, можно совершенно спокойно умереть».*

— Да, я тоже цитирую его в нашей книге по поводу этого чтения. Там не менее пронзительные строки.

— *Ну, хорошо, где вы еще были с ним тогда?*

— Все-таки мы дошли до «Арсенала», и он водил нас по морскому музею. Он хотел показать нам венецианские церкви с его любимыми живописными работами Беллини, Карпаччо... Но почему-то у нас это не получилось, уж не упомню почему. Зато однажды он привел нас на знаменитую площадь Санти-Джованни э Паоло, где стоит конная статуя кондотьера Бартоломео Коллеони, такого венецианского Жукова. Очень интересно рассказывал об этом памятнике. Потом вдруг указал куда-то вдаль и говорит: «Это Сан-Микеле, остров мертвых, венецианское кладбище». Мы стали просить его съездить туда. Наотрез отказался, словно чувствовал, что ему там лежать. Всего через три года... Только отшутил в своем стиле: «Туда уходит сей канал, куда Стравинский поканал». На греческом участке этого кладбища могила Игоря Стравинского.

Ну и, конечно, он повел нас на знаменитый венецианский рыбный рынок, где они с Рейном вдоволь повеселились. Все это было у нас в фильме. А потом мы утопили камеру.

— *Иосиф Александрович видел ваш фильм?*

— Да, видел.

— *И...?*

— Мы позвонили ему двадцать четвертого мая девяносто пятого года, в день его рождения. В этот день мы получили «Тэффи» за фильм «Прогулки с Бродским». Ну, конечно, поздравили его и с днем рождения, и с наградой. Спросили о фильме. Он сказал: музыка замечательная, а меня что-то многовато. Мы поняли: фильм понравился, иначе слова были бы другими.

— *Это был его последний день рождения. Вы говорили с ним еще?*

— Да, однажды он прислал открытку с неожиданным предложением снять в Нью-Йорке фильм о четырех американских поэтах: Одене, Фросте, Йейтсе и Элиоте. Я позвонила ему в ноябре девяносто пятого, и он сказал: «Позвоните мне двадцать девятого января». К этому сроку у него заканчивались каникулы и он уже

знал бы свое расписание. Но «расписание» оказалось совсем другим: двадцать восьмого января он умер.

— *Лена, скажите, та Якович, которая ехала на съемки этого фильма в Венецию, и Якович, которая возвращалась из Венеции в Москву, чем-то отличались друг от друга?*

— Да, да, конечно. В значительной степени это были разные люди.

— *В чем разные?*

— Знаете, это была, пожалуй, самая насыщенная неделя в моей жизни. Она абсолютно переменяла мое мироощущение. Я ехала обратно с ощущением огромного счастья. Это чувство во многом помогло мне потом, помогает и по сей день.

— *Сегодня у вас нет ощущения, что какой-то важный вопрос вы ему тогда так и не задали?*

— Нет. У нас было достаточно времени, чтобы спросить его обо всем. И, как правило, его ответы оказывались несоизмеримо полнее наших вопросов. И потом... не считите меня за сумасшедшую, но этот диалог тогда не прервался, он меня не оставил. И какие-то вопросы я ему задаю на протяжении всех этих лет, и он на них отвечает: иногда беспощадно, иногда деликатно и мягко.

АНГЛОЯЗЫЧНИК

Еду в Лондон. Меня ждет лучший на сегодняшний день исследователь творчества Иосифа Бродского и непревзойденный знаток его биографии, профессор Килского университета Валентина Платоновна Полухина.

Мы уже давно договорились, что погуляем по Лондону Бродского и я запишу ее рассказ. И вот три дня в ее строгом расписании найдены, все формальности соблюдены, и я наконец-то вручаю ей букет цветов у выхода из метро в лондонском Хэмстеде. Здесь, в этом районе, где издавна селились художники и поэты, тихом, уютном Хэмстеде, где и сам Бродский предпочитал жить, снимая квартиры или поселяясь у друзей, мы и встретились. Полухина как никто знает, где он бывал, у кого гостил, почему любил приезжать сюда.

Мы начали нашу прогулку, я спрашивал, она рассказывала. Но теперь, я думаю, что важнее для вас услышать ее рассказ, нежели мои вопросы. Время от времени я буду вмешиваться в это путешествие. Ну а пока — Лондон, Хэмстед, Валентина Полухина о Бродском...

ЛЕ КАРРЕ

«Обычно Иосиф, приезжая в Лондон, останавливался здесь, в Хэмстеде у Альфреда и Рене Бренделей, иногда у Дианы Майерс. Но в тот день, о котором я хочу вам рассказать, он как раз жил у Бренделей. Двадцать второго октября 1987 года Иосиф созвонился с Ле Карре, с которым был хорошо знаком и предложил пообедать. Они выбрали китайский ресторанчик, здесь же, в Хэмстеде, неподалеку от дома Бренделей, встретились, сделали заказ (оба любили китайскую кухню) и, как всегда, принялись болтать о том, о сем. Ле Карре очень ценил эти минуты общения с Бродским, он считал Иосифа очень интересным собеседником.

Вот в этом месте они и обедали тогда. Правда, теперь здесь другой ресторан, тот, китайский, закрылся. Все остальное осталось неизменным, так что нам с вами

легко представить себе, как они тут беседовали. Джон рассказывал мне, что в доме Бренделей не принято было выпивать спиртное, во всяком случае в тех количествах, которые устраивали Бродского. И за обедом Иосиф с удовольствием выпил два или три двойных виски. В таком расслабленном состоянии их и застала Рене Брендель, появившаяся на пороге ресторана. Увидев Иосифа, она тут же громким голосом сообщила: вам следует немедленно идти домой! «Это еще зачем?» — отозвался Бродский. «Иосиф, — с нажимом сказала Рене Брендель, — вам только что присудили Нобелевскую премию по литературе, у нашего подъезда вас поджидает шведское телевидение». Ле Карре тут же заказал бутылку шампанского, они позвонили издателю Бродского Роджеру Страусу, который по случаю оказался в Лондоне, и тот подтвердил факт присуждения Иосифу нобелевки. По свидетельству Ле Карре, выглядел Иосиф совершенно растерянно. Когда они вышли на улицу, Бродский абсолютно по-русски обнял Джона и успел ему шепнуть: «Итак, начинается год трепотни». Но, конечно же, он был рад».

РОМАН С АНГЛИЙСКИМ ЯЗЫКОМ

«Лондон — город триумфов Бродского. Здесь он узнал о присуждении ему Нобелевской премии, сюда он прилетел в девяносто первом году на церемонию присуждения ему звания почетного профессора Оксфорда. За два года до этого я говорила с сэром Исайей Берлином о том, что Бродский мог бы получить эту степень к своему пятидесятилетию. Берлин отнесся к идее с огромным энтузиазмом. Помогло и то обстоятельство, что в Оксфордском университете профессором поэзии был в ту пору Джерри Смит, который занимался ритмикой в стихах Бродского. И вот через два года после этого разговора почетная степень профессора Оксфорда была присуждена Иосифу.

Для него это было событием не меньшим, чем присуждение Нобелевской премии. Из русских писателей этого звания удостоились только Анна Ахматова и Корней Чуковский. Для Иосифа это было признанием прежде всего эссеистики, написанной им по-английски. Признанием на родине языка, который он так любил».

Его роман с английским языком был настолько бурным и глубоким, что во многом изменил его ментальность и даже внешность. Как бы подтверждая эту мысль, я напомнил Полухиной одно из любопытных свидетельств питерского поэта Кушнера. Александр Кушнер писал в своих заметках о Бродском, что, когда они встретились в Нью-Йорке после десятилетней разлуки, он заметил, что в лице Иосифа появилось что-то новое. Кушнер предположил, что постоянная жизнь в английском языке заставила развиться группу лицевых мышц Иосифа, которые раньше были неразвитыми.

«Не знаю, так ли это, — продолжила Полухина, — но вот то, что он с удовольствием подражал Уистену Хью Одну, которого считал величайшим поэтом двадцатого века — совершенно точно. Он перенял оденовскую интонацию «королевского английского». По замечанию лучшего переводчика Бродского Алана Майерса, он с удовольствием использовал псевдоаристократические выражения Одена типа «это было бы чрезвычайно мило...». Алан рассказывал мне, как Бродский выпросил у него какое-то старое мешковатое пальто с капюшоном и деревянными пуговицами и с удовольствием носил его, только чтобы походить на Одена. Луи Макнис как-то угрюмо заметил об Одене: «Все, до чего он дотрагивался, оказывалось сигаретой». Как и Оден, Бродский курил непрерывно до самой смерти. Как и Оден, он предпочитал «LM».

Ну, конечно, как и Оден, он обожал музыку настоящего английского. Он очень любил эту оденовскую отстраненность, точность наблюдения, английскую беспристрастность. Старался избегать горячей эмоциональности, столь свойственной русской и французской поэзии. Вслед за Оденом он исповедовал равнодушие поэта, точность и беспристрастность наблюдения, глубину и лаконичность размышления. То же можно сказать и об отношении к собственному лирическому герою, к личности автора в поэзии. Иосиф и тут следует за Оденом: облик автора стерт, присутствие его «я» сведено к минимуму — «совершенно никто, человек в плаще». Сам сравнивал себя с буквой «г» в слове «ого» или говорил, что его «Я» пятится, как английское «R». Любой другой поэт на такой биографии, на такой личности построил бы все. Но не Иосиф.

Это то, что свойственно английской поэзии и то, что он постигал и впитывал, осваивая пространство английского языка.

Однако, освоив это пространство, он стал использовать английский по своему усмотрению. Например, Иосиф упорно настаивал на сохранении метра в поэзии. В любом языке есть пятистопный ямб. И почему бы его не сохранить в английском, если он есть в английском. Для английской поэзии, современной Бродскому, это было нонсенсом. Но самое удивительное в том, что он настаивал на сохранении рифмы. Современная английская поэзия рифмует крайне редко. Она старше русской примерно на двести пятьдесят лет и за это время успела превратить все свои рифмы в поэтические штампы. Тот же Алан Майерс писал, что природа английского языка сопротивляется рифме, что любая схема рифмовки выглядит в английском языке как ловкий трюк, привлекая внимание читателя к технике автора в ущерб содержанию стихотворения.

Иосиф не желал этому подчиняться. Он переводил на английский собственные стихи, сохраняя метр и рифму, он писал по-английски, исповедуя те же правила. В результате он перессорился со многими переводчиками и навлек на себя безжалостную ругань английских поэтов и критиков. С эссеистикой дело обстояло иначе. Она не рифмовалась, не подчинялась типичным поэтическим метрам, однако он сумел сохранять в эссе ритм, которому подчинялось повествование. Его эссе сравнивали с шагами виртуозного танцора на паркете. Это-то как раз англоязычной публике нравилось, это ее завораживало и покорило.

Так или иначе, но Бродскому удавалось сделать то, что не удавалось никому со времен Пушкина, сделавшего прививку французского русской поэзии. Он сделал русской поэзии прививку английского, а британской ментальности прививку русского».

ДИАНА МАЙЕРС

В какой-то момент нашей прогулки мы подошли к солидному особняку на тихой тенистой улочке в южном Хэмстеде. «Здесь, — сказала Полухина, — живет Диана Майерс. Они познакомились с Иосифом еще в Ленинграде. Тогда она была Дианой Владимировной Абаевой. Но потом вышла замуж за Алана Майерса — одного из лучших переводчиков Бродского. Иосиф помог Диане купить квартиру в этом доме (к тому времени они с Аланом уже разошлись). В последние годы Иосиф останавливался здесь, в этом доме, когда приезжал в Лондон. К сожалению, я вижу, что жалюзи на окнах закрыты. Значит, хозяйки нет дома. Ну что ж, вы можете сфотографировать этот дом для вашей фотоколлекции, посвященной Бродскому».

Я покорно достал фотокамеру, и ровно в этот момент дверь дома отворилась и на пороге возникла Диана Майерс с большой хозяйственной сумкой. Немая сцена

прервалась взаимными приветствиями, моим знакомством и последующим приглашением зайти в дом. И поскольку хозяйка собралась идти за хлебом, с меня было взято торжественное обязательство сопроводить ее потом до ближайшей булочной.

В конце концов мы уместились на заднем дворике дома в маленьком саду с качелями и столом, на котором сам собой появился чай. Я принялся расспрашивать о Бродском Диану Майерс, а Валентина Платоновна просто отдыхала в этом маленьком саду: мы прошли с ней довольно много по улочкам Хэмстеда...

— **Как вы познакомились с Бродским?**

— Это случилось довольно давно. Еще в Ленинграде. Я училась в аспирантуре и жила в общежитии Академии наук. Почему-то так случилось, что в том же общежитии было много литовцев. Мы частенько собирались вместе и просто разговаривали: об искусстве, о литературе, просто о жизни. Среди них был Ромас Катилюс, с которым я была особенно дружна. Это Ромас рассказал мне, что однажды к ним в Вильнюс приехал потрясающий поэт из Ленинграда. Они подружились, и поэт стал приезжать в Вильнюс. Недавно он вернулся оттуда потрясенный знакомством с Томасом Венцловой. Короче, Ромас решил познакомить и меня с этим замечательным поэтом.

— **Конечно же, это был Бродский?**

— Вы удивительно проницательны: это был Бродский. И вот однажды вечером Ромас привел его в наше общежитие. Иосиф просидел у нас всю ночь. Мы говорили обо всем, он читал свои стихи...

— **Какое впечатление он произвел на вас?**

— Довольно сильное. Особая, только ему присущая манера говорить, вообще весь стиль поведения... Ничего подобного я раньше не встречала.

— **А стихи...**

— Стихи его я знала и раньше, до знакомства с ним. Мне нравились его ранние стихи — «Ни страны, ни погоста не хочу выбирать...». Но на этот раз он читал стихи, написанные в Норенской, в ссылке. Это был год, когда он вернулся из ссылки. Стихи были сильными, мощными, это была настоящая, большая поэзия.

— **Впервые после вашей эмиграции вы встретились в Лондоне?**

— Нет. Я ездила из Англии в Советский Союз, в Тбилиси. И он приезжал ко мне туда из Ленинграда. Мы гуляли по старому городу, ели хинкали, которые ему сразу понравились, потому что напоминали ему его любимые пельмени.

— **А когда встретились в Лондоне, заметили ли вы какие-то перемены в нем?**

— Нет, скорее нет. Он был все тем же Иосифом, мягким, деликатным, остроумным... Пожалуй, там, в Советском Союзе, особенно в последние годы перед эмиграцией он был напряжен, задерган. Здесь он чувствовал себя абсолютно расслабленным. Они приехали сюда, в этот дом, с Марией, когда поженились в Швеции. Они жили здесь, и Иосиф довольно много работал в тот приезд.

— **Что вам особенно нравится из его эссеистики?**

— Про Венецию.

— **«Набережная Неисцелимых»?**

— Да, да. Мы ведь были там вместе с ним однажды. Даже встречали там Новый год. Жили в его любимом пансионе «Академия» в Дорсодуро.

— **Приходилось ли вам помогать Алану в переводе стихов Бродского на английский?**

— Нет, он замечательно справлялся сам. Иногда, впрочем, я растолковывала ему значение каких-то идеоматических или слэнговых выражений, которыми Иосиф очень любил пользоваться.

— *Правда ли, что именно в этом доме состоялась вечеринка по случаю присуждения ему Нобелевской премии?*

— Он позвонил мне и сказал только: собери своих. Я пригласила Машу Слоним, с которой дружила, пришла Фейс Вигзелл, кто-то еще...

— *Что ели, что пили?*

— Что пили, уже не помню, а вот ели приготовленные специально для него люля-кебабы. Он обожал всякие котлеты, особенно домашние, которые делала его мама — Мария Моисеевна. Люля-кебаб хоть чем-то мог напомнить ему эти котлеты.

— *Когда вы виделись с ним в последний раз?*

— В ноябре девяносто пятого, по-моему. За два месяца до смерти. У меня было такое чувство, что он приехал прощаться. Был слаб, тих...

— *Можно ли сказать, что вам его не хватает?*

— Да, да... Знаете, Алан как-то сказал: «Все, кто близко его знал, почитали за привилегию жить с ним на одной планете».

Нагулявшись по Хэмстэду, мы добрались до дома, где обитала Полухина, уселись в удобные кресла на ее кухне, зажгли свечу, заварили чаю и продолжили наш разговор.

— *Вы ведь были знакомы с Бродским и достаточно хорошо. Как это у вас получилось?*

— Я, как многие, читала Бродского еще в Москве, в самиздате, в конце шестидесятых годов. Попались его ранние стихи, и они не произвели на меня впечатления. Но когда я приехала в Англию в семьдесят третьем году, то прочитала его книги стихов, изданные в Америке: «Остановка в пустыне», «Стихотворения и поэмы». Вот тут до меня все дошло. Я поняла, что это за поэт. Вскоре я узнала, что Иосиф ежегодно бывает в Англии. Я предупредила всех, с кем была тогда знакома, что хотела бы с ним встретиться. И вот в ноябре семьдесят седьмого года мне позволила Людмила Куперман, жена художника Юрия Купермана, и пригласила меня в гости. Сказала: будет Иосиф, приходи. Я пришла, и пришел Иосиф Александрович. Там были еще три приятельницы, и вот для нас, четырех русских женщин, он весь вечер читал стихи. Очень щедро, очень много, и по просьбам, и по собственному желанию. Я была просто сражена и, честно говоря, позволила себе жест непозволительный: я села у его ног на пол. Он тут же поднялся за стулом. Но я настаивала на своем праве сидеть подле его ног и даже сравнила его с Пушкиным. Он сурово посмотрел на меня и строго сказал: «Валентина, имейте в виду, на меня такие вещи не действуют. Если вы действительно так считаете — докажите».

В ту пору я училась в аспирантуре Эдинбургского университета и продолжала свои исследования по экспериментальной фонетике. После свидания и знакомства с Бродским я поняла, что должна сменить тему, что должна заняться его поэзией. И поскольку я скорей лингвист, чем филолог, то предметом моего профессионального интереса стало исследование метафор в поэзии Бродского.

— *Существует множество свидетельств того, что впечатление о людях у Иосифа Александровича складывалось сразу, что называется, с первого взгляда. Каким нужно было быть, чтобы произвести на него благоприятное впечатление?*

— Знаете, когда я составляла большую книгу его интервью, то обратила внимание на то, что, какими бы умными ни были порой вопросы собеседника, Бродский оставался замкнутым, нерасположенным к откровенности. Это означало только одно: человек ему несимпатичен. И наоборот: порой и вопросы наивные, и знание предмета относительное, а он воодушевлен и сам тянет беседу к своему высокому уровню. Значит, интервьюер ему понравился почему-то. Выбор его всегда был чисто эмоциональным, часто визуальным. Ему достаточно было взглянуть на человека,

чтобы определить для себя, хорош он или плох. Это знаете, как у маленьких детей: понравился человек — он ему улыбается и тянется к нему, не понравился — отворачивается от него или плачет. Это потом он мог обосновать свой выбор какими-то логическими соображениями, однако изначального эмоционального критерия выбора это все равно не отменяло.

— *А как он отреагировал на вас?*

— Ну, со мной все просто. Мне помогло то, что я была в него по уши влюблена и не могла этого скрыть. Честно говоря, Иосифу это очень мешало. Он никак не мог справиться с этой моей любовью. Порой он просто не знал, как ему себя вести. Он мог быть холодным или милым и добрым, ему, вероятно, было жаль меня... По-разному было. Но в какой-то момент мне помогла моя польская кровь, да еще и шляхетское происхождение... Я твердо решила, что никогда не позволю себе чувствовать себя униженно даже перед Иосифом. Я буду заниматься его творчеством, и это для меня самое главное. Мне важно вести себя достойно, важно достойно выполнять мою работу, а все мои чувства я должна запереть на ключ и ключ выбросить. Решить-то было легко, а вот сделать трудно. Думаю, что он всегда чувствовал, что его любят. Такая двойственность наших отношений сохранялась долго, но в конце концов возобладало деловое сотрудничество. И вот тут Иосиф был абсолютно отзывчив, обязателен и деликатен.

— *Хочу поделиться с вами одной догадкой. Мне кажется, что западный англоязычный мир изначально был покорен эссеистикой Бродского. Она была написана по-английски, не требовала переводов и была обращена к ментальности западного читателя напрямую. Переводы стихов никогда не бывают адекватны, а его попытки писать стихи на английском в большинстве своем были не очень-то удачными. Можно ли сказать, что Нобелевская премия была присуждена Бродскому, по сути и по большей части, за эссеистику, нежели за поэтическое творчество?*

— Вы во многом правы. И неправы одновременно. Вы правы в том, что западный читатель, интеллектуальная элита была абсолютно ошеломлена и покорена первой же книгой его эссе «Меньше единицы». Восторг был повсеместным и на самом высоком уровне. Рецензии в самых авторитетных и престижных изданиях, мгновенная слава, куча заказов... Качество его эссеистики отличало еще и то, что Иосиф изначально был проповедником. Он проповедовал западному читателю русскую литературу, русскую поэзию, которую он знал и любил как никто. Он пытался объяснить Западу, что такое русский поэт, что такое поэт в России, почему, в отличие от всего мира, у поэта в России особая роль. Это придавало его эссеистике новизну, мощь, интеллектуальную насыщенность. Вы правы и в том, что переводы даже самого гениального поэта, даже самые лучшие, не могут быть адекватны. Иосифу с переводчиками везло. Проблема была в другом. Английская поэзия старше русской на два с лишним века. И к тому времени, когда Бродский подошел к миру английской поэзии, она уже исчерпала все свои ресурсы: строфические, метафорические, ресурсы рифм, скомпрометированных к тому же массовой культурой пятидесятых и шестидесятых годов. А он обожал рифмы, он знал все рифмы русской поэзии, он запрещал себе рифмовать глаголы и прилагательные, его рифмы и метафоры несли смысловую нагрузку. Так что адекватного представления о поэзии Бродского у англоязычного читателя не могло быть не из-за трудностей перевода, а по весьма объективным причинам.

Вы неправы в том, что эссеистика и поэзия Бродского — это разные вещи. Его эссеистика — это поэзия другими средствами. Смело утверждать, что его знаменитое эссе «Набережная Неисцелимых» — прекрасный образец поэтического творчества, выполненный по принципу анафоры (поэтического повтора. — Ю. Л.). Эти

его короткие части подобны строфам. К сожалению, в русском переводе принцип анафоры не всегда можно проследить, но поверьте, это так.

— *Чем бы вы объяснили такой бурный роман Бродского с английским языком, его упорное стремление писать стихи на английском? Хотел ли он покорить поэтическую вершину и как англоязычный поэт? Ему недостаточно было славы русского поэта?*

— Я не думаю, что Иосиф жаждал славы англоязычного поэта. Он был достаточно умен, чтобы понимать, что это невозможно. Хотя, я помню, как на фестивале поэзии в Кембридже собрались лучшие переводчики Мандельштама и говорили что невозможно перевести на английский «За дремучую доблесть грядущих веков». Кто-то из зала крикнул: тут находится Бродский, давайте послушаем, что он скажет. Вышел Иосиф и первое, что он сказал, было: «Nothing is impossible» — нет ничего невозможного. У меня сердце ушло в пятки, потому что мгновенно одной фразой он дал им всем пощечину, нажил огромное количество врагов. Потом он стал им объяснять, что в этой строчке запрятан и Пушкин, и Державин, и что-то еще... Никто из переводчиков об этом даже не догадывался. А он им прочитал целую лекцию о русской поэзии. В нем было это — нет ничего невозможного. Но что касается письма стихов на английском... Понимаете, он слишком поздно пришел в английский язык. У него практически не было акцента в устной речи, но в письменной акцент сохранялся. Однажды Дерек Уолкотт сказал по поводу одной из его английских рифм: это может быть английской рифмой, если прочитать слова с русским акцентом; по-английски это не рифма. Помимо этого, ему не хватало идиоматики.

Как мне представляется, причина, по которой он стремился писать по-английски, проста. Он ведь был дружен с выдающимися поэтами: Шеймасом Хини, Дерекем Уолкоттом, Марком Стрэндом, Чеславом Милошем... Скорей всего, его смущало то обстоятельство, что они знали его вчерашние стихи, поскольку переводы запаздывали, отставали от оригиналов по времени. А он читал их сегодняшние сочинения по-английски. Он хотел, чтобы они тоже знали его сегодняшнего. Другой причины я не вижу.

— *Вы опросили о Бродском более ста человек, хорошо знавших его. Были ли среди этих свидетельств неожиданные для вас, представлявшие Иосифа Александровича новым, незнакомым вам?*

— Нет, пожалуй, нет. Все-таки я достаточно хорошо его знала. Другое дело, что я столкнулась с неожиданным явлением. Я хотела обсудить, было ли что-нибудь специфически еврейское в его поэзии? Или, например, меня интересовал вопрос христианских мотивов его творчества. Я с удивлением обнаружила, что для обсуждения этих тем ни у меня, ни у моих собеседников в буквальном смысле нет слов. В годы советской власти эти темы были табуированы и язык остался без инструментария. Обсуждать эти темы мне было удивительно трудно.

— *Почувствовали ли вы разницу в суждениях о Бродском до и после его смерти?*

— Да, почувствовала. При жизни Иосифа они его больше кусали, царапали. После смерти стало больше пиитета, меньше мелочных придирок. Если же говорить о главном, то я не встретила еще ни одного русского поэта, который бы не страдал комплексом Бродского.

— *Что вы называете «комплексом Бродского»?*

— Это ясное осознание того, что вы — современник великого поэта второй половины XX века. Вы ходили с ним по одним улицам, вы легко могли его встретить, он еще вчера был здесь, умнейший человек и гениальный поэт. Ему досталось столько славы, сколько не имели ни Ахматова, ни Мандельштам, ни Цветаева. И

в России, и в Америке, и в Европе — везде. Он застигает горизонт. Его не обойти. Ему надо либо подчиниться и подражать, либо отринуть его, либо выпитая в себя и избавиться от него с благодарностью. Последнее могут единицы. Чаще можно встретить первых или вторых. Это и есть комплекс Бродского.

— **Вы уверены, что не преувеличиваете значение Бродского?**

— Как известно, Александр Сергеевич Пушкин перенес французскую поэзию на русскую почву. Это понятно: французский в то время был родным языком русской аристократии. Но ни Пушкин, ни поэты, шедшие за ним, ничего не взяли из богатейшей английской поэзии, кроме, пожалуй, романтического образа поэта у Байрона. Все это сделал Иосиф Бродский два столетия спустя. Это колоссальный вклад в русскую поэзию, в русскую литературу, в русскую культуру, в русский язык, наконец. Русский язык нуждался в этом вкладе, в этой новой крови и получил ее, благодаря Бродскому. Если бы он не сделал, кроме этого, ничего больше, только за один этот вклад ему следовало бы поставить памятник. Я убеждена, что его влюбленность в английский язык, в английскую культуру, в английскую поэзию были продиктованы внутренними потребностями русского языка, которому он служил так верно и так преданно, как никто.

— **Он же полагал язык данным нам свыше, для него язык был божеством...**

— Да, верно, он сам об этом много писал и говорил. Но, помимо этого, он полагал, что поэзия есть высшая форма проявления языка. И в этом смысле я не знаю другого поэта, который бы находился в таких отношениях с языком... Мне порой кажется, что Бродский — это осознанный выбор русского языка.

— **Как это?**

— Ну, если следовать Иосифу, то язык — нечто данное нам свыше, некая субстанция и больше, и глубже, и протяженнее во времени, нежели человек или даже человечество. Вот допустим, что это огромное живое существо — русский язык — созревает до такого момента, когда ему требуется поэт, который бы помог в совершенной форме зафиксировать современное состояние языка, открыл бы ему дорогу к дальнейшему движению. И этот язык выбирает маленького еврейского мальчика в антисемитской стране, зная, что он пройдет через страдания, вдыхает в него поэзию, зная, что истинный поэт в этой стране либо гибнет, либо подвергается изгнанию. Он дает ему выжить, стать знаменитым и исполнить порученную ему миссию.

— **Красивая концепция.**

— Спасибо.

— **Если позволите, я продолжу вопросы о выборе. Почему он выбрал в конце концов Марию Соццани?**

— Потому что тут он нашел свой настоящий идеал. Красавица, аристократка, знает английский, французский, итальянский, русский, полурусская-полуитальянка, музыкант. И из рода Пушкина! Когда он привез ее в первый раз на фестиваль поэзии в Лондон, я была потрясена ее красотой. На ней не было ни миллиграмма косметики: гримировать такую совершенную красоту — только портить.

— **Говорят, она похожа на Зару Леандер — голливудскую звезду, которую Бродский увидел еще в ранней юности в послевоенном американском фильме и влюбился...**

— Верно. И Зара Леандер, и Мария Соццани, и Марина Басманова, и Фейс Вигзелл — это один архетип женщины. Вы, мужчины, так устроены: в сущности, вы всегда любите одну женщину, за сколькими бы вы ни ухлестывали...

— **Прошло много лет после смерти Бродского. Но интерес к нему, к его текстам, к его биографии не остывает, более того, он растет. Любые книги Бродского или о Бродском мгновенно исчезают с прилавков, появляются все новые и новые исследования его творчества и обстоятельств жизни, лите-**

ратурные, кинематографические, телевизионные, его могила на венецианском острове Сан-Микеле каждой день полна свежих цветов... Во времена, когда газетные становятся лучшими друзьями молодежи, эта молодежь явственно тянется к его стихам и эссеистике. Во всяком случае, так в России. Почему? Вы можете назвать ощутимые причины этого интереса?

— Мне кажется, могу. Я уже говорила вам, что о Бродском можно говорить как о современном Пушкине. Потому что по большому счету Иосиф сделал то, что сделал в свое время Александр Сергеевич. Он обогатил наш поэтический русский язык, привнес в него все его современные формы, включая молодежный сленг даже тюремный жаргон и политический новояз, которым были переполнены все газеты в Советском Союзе. Однажды я спросила его, не кажется ли ему, что наш язык очень загрязнен. «Валентина, — сказал он назидательно, — имейте в виду, язык никогда не может быть загрязнен, это огромное живое существо, которое все выпитывает, все перерабатывает и все нужное сохраняет. И поэт — слуга языка».

Так что если через сотню лет кто-нибудь спросит: каким был русский язык сто лет назад, правильный ответ — читайте поэзию Бродского. Его влюбленность в русский язык была такова, что он однажды уверенно сказал: «До тех пор, пока существует русский язык, великая поэзия неизбежна». Известно, что Бродский отождествлял Язык с Богом, как будто он буквально понял это библейское «в начале было слово». Поэтому, когда мы говорим о его растущей популярности, надо иметь в виду это, но не только.

— *Что еще?*

— Иосиф — поэт универсальных тем. Время и пространство, человек и Бог, вера и неверие, верность и предательство, счастье и несчастье любви — все эти темы насквозь пронизывают его поэзию, они универсальны для любой культуры, для любого человека любой национальности и любого культурного уровня. Каждый находит в нем что-то свое, близкое. Ну и потом — его судьба. Трудно представить судьбу более трогательную и более уникальную, чем судьба Бродского. Она вызывает неподдельный интерес и огромное сочувствие. Прибавьте к этому его редкое обаяние и блистательный, быстрый ум, родивший огромное количество афоризмов. Не случайно многие его стихи разошлись на пословицы и поговорки.

— *Нет ли в вашем сравнении его с Пушкиным преувеличения?*

— Ни капельки. О прививке английского языка, которую сделал для русской поэзии Бродский, вы уже знаете. Таковую же прививку, только языка французского, сделал Пушкин. И еще одно сходство: непростые отношения поэта и верховной власти, возможные только в России, где за слово традиционно и казнили, и миловали, и награждали, и проклинали, и любили. Не буду распространяться здесь об отношении Николая Первого к Пушкину, существенно повлиявшего на судьбу поэта. Но что касается Бродского, то судили его по милости Хрущева, впервые после смерти Сталина устроившего судилище над поэтом. Брежнев выслал его из страны. Горбачев навестил его в библиотеке конгресса США, где Иосиф уже занимал трон поэта-лауреата. Премьер Черномырдин явился на его похороны в Нью-Йорке, а президент Ельцин прислал огромный венок на его могилу в Венеции в день перезахоронения тела. Так что вечная российская тема «Поэт и Царь» тоже выделяет их двоих — Пушкина и Бродского.

— *Хочу попросить вас объяснить один странный феномен. Есть много свидетельств о том, что люди, впервые встречавшие Бродского, мгновенно ощущали в нем гения. И это еще до его громкой славы, еще до нобелевки... Как это может быть? Почему? Из чего возникало это ощущение?*

— Известен случай с Татьяной Яковлевой-Либерман (несостоявшейся любовью Владимира Маяковского). Однажды в присутствии довольно большой

компания она сказала: «В своей жизни я знала только двух гениев: Пикассо и... (она помолчала, все ожидала, что она скажет «...и Маяковский») ...и Бродский», — закончила она. Яковлева почувствовала то, что ощущали многие, впервые встречавшие Бродского. Мне повезло: я была знакома с ним, слушала его на лекциях и семинарах, говорила с ним. Было ли у меня ощущение, что я говорю с гениальным человеком? Да, было. Это чувство возникало как понимание того, что ты находишься в мощном энергетическом поле, исходящем от этого человека. Он облучал вас этой энергией, и вы невольно впадали от нее в зависимость. Может быть, поэтому у Иосифа было огромное количество поклонников и поклонниц. И среди них немало всемирно известных. Марк Стрэнд, Шеймас Хини, Миша Барышников. Сюзен Зонтаг, которой хватало своей славы, преклонялась перед ним. И сам Иосиф чувствовал в себе эту энергию. Он понимал, откуда она. Однажды он сказал: «Я полагаю, Ему нравится то, что я делаю. Иначе зачем бы Он меня до сих пор сохранял живым?» Вы знаете, он ведь был очень больным человеком...

— *Если бы можно было поделить вашу жизнь на «до встречи с Бродским» и на «после встречи с ним»... Существенно бы отличалась первая часть от второй?*

— Я благодарна судьбе за эту встречу. Она существенным образом повлияла на мою жизнь. Во-первых, я поменяла тему своей докторской диссертации. Все, чем занималась раньше, бросила, перевелась в другой университет, чтобы заняться творчеством Бродского. Я исследовала все его поэтические метафоры. Диссертация была написана на русском языке, и мне тут же предложили издать ее в качестве монографии в Кембриджском издательстве. Эта монография через некоторое время сделала меня профессором. Стало быть, Бродскому я обязана своей академической карьерой. Это знакомство изменило мою личную жизнь. Я отказалась от выгодного брака, который неизбежно превратил бы меня в состоятельную буржуазную даму. Буржуазной дамы из меня не вышло, зато мне удалось издать несколько книг о Бродском, близко быть знакомым с ним. И это, поверьте мне, куда важнее. Занятие творчеством Бродского закономерно и неизбежно меняет всю вашу жизнь, делает ее глубже и осмысленнее. Конечно, он чувствовал, что я искренне увлечена его творчеством, и к нему самому отношусь с придыханием. Поэтому мне позволялось то, чего он не поощрял в других исследователях. И я этим пользовалась. Однажды я ему позвонила. Диалог происходил примерно так:

— У вас есть ручка под рукой?

— Да, а что вы хотите, Валентина?

— Пишите. Я, Иосиф Александрович Бродский, разрешаю Валентине Полухиной цитировать мои стихи в неограниченных объемах для ее монографии. Написали?

— Да. А как называется книга?

— Не скажу.

— Валентина! Я вас спрашиваю! Как. Называется. Книга.

— «Иосиф Бродский. Поэт для нашего времени».

И я по телефону увидела его улыбку, потому что название я украла у него самого. Поэтом для нашего времени он назвал Вергилия.

— *Скажите, вам не хватает его?*

— Да, да, конечно. И не только мне. Теперь он — гордость России. И его популярность, конечно, будет расти дальше. Но при этом надо иметь в виду: когда язык создает такого гения, некоторое историческое время язык отдыхает. Поэтому поэта такого уровня нам надо будет терпеливо и долго ждать.

— *Последний вопрос. Расскажите, как он умер.*

— Накануне вечером у них с Марией были гости. Разошлись поздно. Иосиф Александрович поднялся в свой кабинет, наверх. Сказал, что поработает немного, разберет какие-то бумаги. Он частенько делал так вечерами. И когда засиживался допоздна — оставался спать в своем кабинете. Поэтому в тот вечер Мария не удивилась, что он не спустился вниз, не пришел в свою постель... Утром раздался телефонный звонок, она поднялась наверх, чтобы его разбудить, и не смогла открыть дверь. Он лежал на полу, кажется даже в очках. То есть он, видимо, сидел, потом поднялся, чтобы спуститься вниз и упал. Разрыв сердца. Страдал ли он при этом? Надеюсь, что он умер очень быстро...

ЛИЧНОЕ МЕСТОИМЕНИЕ

Три города, три места были в жизни Бродского.

Ленинград, где он родился, где понял, что он поэт, где обожал свою Марину и посвящал ей прекрасные стихи, где был судим за тунеядство, откуда был изгнан партийными властями и гэбэшниками и куда не вернулся уже никогда.

Венеция, которую любил всем сердцем, куда ежегодно приезжал, где неизменно был счастлив, о которой написал лучшее свое эссе, где нашел свой последний приют.

Нью-Йорк, где был прославлен, стал нобелевским лауреатом по литературе, женился, где у него родилась дочка, где им написаны прекрасные и мудрые стихи, где однажды январской ночью он умер.

...Уже несколько минут подряд я хожу по просторной и пустынной площади Вашингтон сквер, в том месте, где знаменитая Пятая авеню впадает в Гринвич-Виллидж. Именно здесь мы договорились встретиться с писателем и эссеистом Александром Генисом. Он обещал мне показать Нью-Йорк Бродского. Мы решили начать с района, который Иосиф Александрович любил и где на улице Мортон был его первый дом в Нью-Йорке. Я смотрю на Пятую авеню, чтобы не пропустить маленький двуцветный «мини-купер» с моим знаменитым собеседником.

Он приехал вовремя, и мы решили тут же отправиться на Мортон, к дому №44. Не отрываясь от руля, Генис стал рассказывать...

44 MORTON ST.

— Смотрите, это во всех отношениях замечательный район, Бродский его обо- жал. Гринвич-Виллидж напоминает лондонский Блумсберри — такое эстетское поселение, пристанище творческой интеллигенции. Здесь — невысокие дома, вполне европейские, уютные улочки с ресторанчиками, кафешками, маленькими барами, книжными магазинчиками, театрами... Вот, видите театр? Я смотрел в нем «Счастливые дни» Беккета. Бродский любил бродить здесь с друзьями. Ему не нравилось, когда кто-то из приезжих, засидевшись допоздна, оставался у него ночевать. Поэтому он предпочитал вести заезжих гостей гулять по Гринвич-Вил- лидж с обязательным заходом в китайский ресторан. В китайской кухне он знал толк, любил ее и с удовольствием угощал гостей.

Вообще, Нью-Йорк и Манхэттен, в частности, — это, как известно, остров. Вы можете пойти в любом направлении — с юга на север или с востока на запад — все

равно неизбежно выйдете к воде: либо к Гудзону, либо к Ист-Ривер. А вода для него была всегда больше, чем просто вода: она для него старшая из стихий и море — его центральная метафора, полноценное воплощение времени. Помимо всего прочего — это запах, звуки и образы ленинградского детства. Близость воды для него была принципиально важна. И здесь, в Гринвич-Виллидж, на Мортон-стрит он получил то, что хотел. От его дома до Гудзона было рукой подать. Конечно, он любил бывать здесь на набережной, где стояли океанские корабли. Наверное, это напоминало ему ленинградскую гавань, Васильевский остров...

А вот и дом № 44. В общем-то, довольно типичный таунхаус. В нем Бродскому принадлежало полуподвальное помещение, вполне просторное. Но главное достоинство этого дома — внутренний дворик с садом, столиком, за которым он любил сидеть с гостями.

По поводу дома на Мортон он написал: «Видимо, я никогда уже не вернусь на Пестеля, и Мортон-стрит — просто попытка избежать этого ощущения мира как улицы с односторонним движением».

Как ему досталась эта квартира? Надо сказать, что жилье в этом районе Нью-Йорка запредельно дорогое, и Бродскому, новоиспеченному эмигранту, оно было просто не по карману. Но он дружил с человеком по имени Джордж Клайн. Клайн был профессором университета, славистом и искренним поклонником Бродского. Они познакомились еще в Ленинграде, Клайн привез ему гонорар за первое зарубежное издание книги его стихов. Именно Клайн представил его Одну и попросил этого замечательного поэта написать предисловие для первой книги Бродского на английском языке. Словом, вы представляете себе, что значил Бродский для Клайна. А при чем тут дом на Мортон? — спросите вы. А при том, что квартира эта принадлежала Джорджу Клайну. Он просто уступил ее Бродскому на время.

Что было внутри? Его интерьер чем-то напоминал знаменитые теперь ленинградские полторы комнаты в доме на перекрестке Литейного и Пестеля. Бюстик Пушкина, английский словарь, сувенирная гондола, старинная русская купюра с Петром Первым в лавровых листьях...

Этот его вполне английский быт по-шекспировски скрывал итальянскую начинку. Стоит только взглянуть на тот внутренний дворик, чтобы узнать венецианскую палитру — все цвета готовы стать серым. Среди прочих аллюзий — чешуйки штукатурки, грамотный лев с крыльями и звездно-полосатый флажок, который кажется здесь сувениром американского родственника. Словом, для него это пристанище было окном в Европу. С Петей Вайлем мы бывали здесь, у него в гостях. Даже записали с ним огромное интервью на пленочный магнитофон, которое пропало (просто пленка осыпалась). И однажды, в порядке благодарности за гостеприимство, решили сделать для него обед. Да не просто обед, а обед, составленный по древним римским рецептам. Я в университете учил латынь и написал меню на латыни. Там были цитаты из Марциала, да и весь обед мы сделали по Марциалу. Единственное, на чем мы споткнулись: у Марциала упоминалась айва. Мы не знали, где взять айву в Нью-Йорке, даже не знали, как она называется по-английски. Тогда мы с Вайлем залезли в садик нью-йоркского музея и нахально украли там айву.

Меню на латыни прислали Бродскому. Там, между прочим, были такие строки из Марциала: «В гостях неохотно классик обедает...». Бродский сказал, что это лучшая затея из всех, что были ему известны. И вот в назначенное время мы сидели и ждали его на наш римский обед. Ждали, ждали, ждали... И знать не могли, что он в это время лежал на операционном столе в клинике на двенадцатой улице. Его увезли на скорой. Сердце.

Только ленивый не написал еще о знаменитом нью-йоркском ресторане «Русский самовар», созданном на паях не менее знаменитым ленинградским эмигрантом, поклонником поэзии Романом Капланом. Он — этот ресторан — давно уже стал клубом, куда приходят и приезжают все, кто любит и знает русскую культуру. Легче сказать, кто из знаменитых, легендарных и гениальных поэтов, режиссеров, художников, композиторов тут не был. Кажется, были все и каждый оставил свой автограф на стенах. Общеизвестно и то, что когда «Русский самовар» оказался в финансовом кризисе, Каплан позвонил Бродскому, новоиспеченному нобелевскому лауреату и попросил о помощи. Бродский в свою очередь позвонил Михаилу Барышникову. Деньги Бродского и Барышникова спасли «Русский самовар». И слава богу! Где бы мы сидели теперь с Александром Генисом в холодном и промозглом февральском Нью-Йорке? Где бы под водочку с дрожащим холодцом и обжигающим борщом я слушал бы его блистательный спич о Бродском? А так я нахально устроился на диванчике, где всегда сиживал Иосиф Александрович, под уютным абажуром, и единственное, что меня по-настоящему волновало — не разрядились ли батарейки в моем диктофоне.

— Обычно он заказывал здесь то, что любил всегда, начиная с домашнего ленинградского быта: пельмени, котлеты, гречневую кашу. Иногда — жареного гуся. Обожал! Ну и, конечно, холодец и, конечно, винегрет. Пил виски. Ну, казалось бы, какой там виски под соленый огурец и винегрет! Но надо понимать, что Бродский, выросший в молодой литературной среде послевоенного Ленинграда, воспитанный на трофейных американских фильмах, на ковбойских джинсах, о которые легко зажигается спичка, на виски с содовой, на английском языке, на сигаретах «LM», которые куриил его кумир Оден, — был куда большим западником, чем сами западники. Поэтому — виски. Ну еще — граппа. Это, скорей всего, от бедности. Он стал приезжать в Венецию — один из самых дорогих в мире городов — когда денег в его карманах было не так уж много, вином не прокормишься, особенно зимой. А граппа — почему бы нет, маленькая бутылочка в кармане плаща...

Ну и, конечно, эти упитательные литературные разговоры в «Самоваре!». Кстати, говорить с Бродским, особенно о литературе, было делом крайне непростым. Он никогда с тобой не соглашался. Ну, казалось бы, обычное дело: говорят два человека, один кивает головой, потом другой кивает головой, ну, вот, как мы с вами. С ним все не так. Что бы вы ни сказали — он тут же бросался с вами спорить. Нельзя заставить кошку сидеть у вас на коленях, так и Бродского невозможно было заставить согласиться с вами. Как-то говорили с ним о его любимом Фолкнере. Он вяло, недовольно соглашался, и я чувствовал, что протест в нем уже созревает. Через секунду его прорвало: главное у Фолкнера, категорически заявил он вдруг, — это женщина в черном платье, вот это и есть настоящий Фолкнер! И все! Меня как поленом по голове ударили: какая женщина, о чем он?.. Между прочим, у него нашлись последователи и подражатели. Когда появился Борхес, я прибежал к Довлатову со своими восторгами. Он терпеливо выслушал меня и глубокомысленно заметил: там у него человек один в черном пальто ходит — вот это и есть настоящий Борхес.

Однажды Бродский заявил, что лучший роман всех времен и народов — это книга Анатолия Мариенгофа «Циники». Бэнц! Потом он об этом забыл. И когда я через некоторое время спросил его, какая книга с его точки зрения лучшая, он вскинулся: когда, сейчас? Ну, конечно же, «Марш Радецкого» Йозефа Рота! Абсолютно безответственное заявление. Я понимаю, откуда это у него. Он физически не переносил общепринятого, «типического», установленного,

стандартного. Ваш любимый композитор? — спрашивали у него. Гайдн! — тут же отвечал он. Мой знакомый, знавший Бродского, комментировал это так: ну, конечно, Гайдн, потому что его «любимый Моцарт» прозвучало бы триумфом. Он, например, считал «Стихи о неизвестном солдате» лучшим из того, что написал Мандельштам. Я этих стихов никогда не мог понять. О чем это? Черт его знает! Наверное, им, гениям, — виднее. Впрочем, Бродский был профессором и преподавал студентам, поэтому время от времени он вынужден был делать и ответственные заявления. Известен его список из пяти писателей, на которых следовало бы ориентироваться человечеству. Это Пруст, Фолкнер, Платонов, Джойс и Кафка. Выше всех он ставил Платонова. При этом говорил: горе тому языку, на который можно перевести Платонова.

Есть литературные имена, о которых он вообще никогда не высказывался. Это означает, что он либо относился к ним крайне негативно, либо они произвели на него очень сильное впечатление. Например, Окуджава. Или Маяковский. Мы с Львом Лосевым пришли к выводу, что именно ранний Маяковский оказал на него огромное влияние. Поскольку для советского поэта только Маяковский мог быть провозвестником мирового модернизма. Никакого Элиота для советского поэта не существовало. А ранний Маяковский и ранний Элиот очень похожи.

Из классиков он восторженно относился к Овидию. Хотя у стихов Овидия очень монотонная ритмическая структура. С моей точки зрения, Бродскому всегда ближе был Гораций. Но именно Овидий как-то сблизил нас. Бродский приехал в Нью-Йорк, когда вокруг него было сравнительно пусто: некому было читать его стихи на русском, да еще в рифму. Американцы в рифму не пишут и стихи на русском в большинстве своем не читают. Бродский оказался почти в творческом вакууме. Как-то мы говорили об этом, и я процитировал ему на ту же тему Овидия: «...миму мерную пляску плясать в темноте». Он всплеснул руками. Овидий?! Откуда это?! Это потрясающе, это же я, я!

СОБОР СВЯТОГО ИОАННА БОГОСЛОВА, AMSTERDAM AVE.

— Здесь состоялся вечер памяти Бродского. В начале марта 1996 года. Совершенно случайно дата совпала с сороковым днем после его ухода. В тот вечер лучшие поэты из разных стран мира читали его стихи. Тут звучали любимые им Моцарт и Гайдн. А когда вечер подошел к концу и надо было расходиться, под сводами собора вдруг раздался такой знакомый его голос: «Меня упрекали во всем, кроме погоды, / и сам я грозил себе часто суровой мздой, / Но скоро, как говорят, я сниму погоны / и стану просто одной звездой...»

Мы выходили на улицу под это его чтение, и у каждого ком стоял в горле.

В этом удивительном соборе есть уголок поэтов. На мраморе небольшие таблички с именами лучших, писавших на английском языке. Вот Уистен Хью Оден, вот Роберт Ли Фрост. Оден был его кумиром и учителем. Слава богу, им суждено было встретиться и говорить. И все же... У меня есть догадка. Я думаю, что по-настоящему и глубоко его интересовал именно Фрост. Разумеется, они не могли быть знакомы, Фрост умер в 1963 году. И тем не менее именно у Фроста было то, к чему Бродский осознанно или бессознательно всегда стремился, к чему пришел уже на пороге смерти. Ему страшно нравился Фрост, потому что это были стихи не о себе. Это принципиально важно. Видите ли, вся великая русская поэзия — это всегда про «я» и от «я». От личного местоимения первого лица. Это и Маяковский, и Есенин, и Лермонтов... Фрост пишет не от «я», он

пишет о другом человеке, не о себе. И Бродского, освоившего в совершенстве русскую традицию, неудержимо влекло туда, за ее порог, где для него начиналось нечто принципиально новое в поэзии. Не случайно в последние годы он демонстрировал готовность работать в драматургии, где важно уметь говорить не от «я». К концу жизни он понял что-то очень важное. С моей точки зрения, люди, создающие литературу, меняются в зависимости от того, каким местоимением они пользуются. И если авторское местоимение меняется — меняется и литература. Не меньше. Это как изменения, происходящие с самим человеком по мере его взросления, по мере приближения к последней черте. Посмотрите как менялось его лицо. Внешность еврейского паренька к концу жизни преобразуется в лицо патриция из Августовского Рима с медальным профилем Данте. И взглядом, понимающим не только себя самого. Его лицо менялось по мере того, как душа росла, и по мере того, как менялось в его поэзии личное местоимение — с «я» на «он».

На самом деле, это самое большое, чего человек может достичь — изменить лицо.

22 PIERREPONT ST.

Мы простились с Александром Александровичем. Он поехал домой на своем «мини-купере», а мой путь лежал в Бруклин-хейтс, престижный район Нью-Йорка, где в доме № 22 на улице Пирпонт двадцать восьмого января 1996 года Бродский умер в своем кабинете.

Утро выдалось удивительно холодным. С Ист-ривер задувал ледяной ветер, твердый наст на обочинах, а на дорогах ледяные колеи. Ну, прям-таки Россия, где-нибудь в Нижнем Тагиле, а то и в Питере.

От Бруклинского моста я отправился по набережной, и вскоре уши и щеки мои были обожжены холодом. Я свернул вглубь дворов, спасаясь от ветра, и через некоторое время обнаружил, что Бруклин-хейтс — это повзрослевший и посолондневший Гринвич-Виллидж с пятиэтажными домами и четко расчерченной графикой улиц. Что-то мне это напоминало. Что? Где-то это уже было со мной. Где?

Вот детская площадка, вот как будто знакомый перекресток. Я свернул на эту улицу и вскоре оказался у дома № 22. Здесь все и случилось тогда. Подъезд, освещенный тусклой лампой, окна второго этажа с задернутыми шторами. Минут пять я постоял тут под промозглым ветром и не торопясь побрел обратно. И только метров через пятьсот в глубине какого-то двора меня вдруг осенило: 2002 год, Васильевский остров, промозглый холодный январь, я, как и теперь, ищу дом, о котором он написал в ранних стихах. Господи, как я раньше не догадался! Эти четкие прямые улицы, эти пятиэтажки с редкими магазинами и прохожими, эти ледяные надолбы и сугробы по обочинам... «Ни страны, ни погоста / не хочу выбирать. / На Васильевский остров / я приду умирать. / Твой фасад темно-синий / я впотьмах не найду, / между выцветших линий / на асфальт упаду. / И душа неустанно, / поспешая во тьму, / промелькнет над мостами / в петроградском дыму, / и апрельская морось, / над затылком снежок, / и услышу я голос: / — До свиданья, дружок. / И увижу две жизни / далеко за рекой, / к равнодушной отчизне / прижимаясь щекой. / Словно девочки-сестры / из непрожитых лет, / выбегая на остров, / машут мальчику вслед».

«Ну, вот и все, — подумал я, — наконец-то этот пазл сложился».

ЗДЕСЬ БЫЛ ИОСИФ БРОДСКИЙ

Поезд «Москва — Воркута» прибывает в Коношу утром. Я выбрался из вагона и оглянулся по сторонам. Так, ничего особенного: ранняя весна, грязь, снежок, двухэтажное здание вокзала вдалеке. На перроне пусто. Однако меня встречали. Шофер помог дотащить сумку до машины. По лужам и ухабам мы добрались до здания районной газеты «Коношский курьер». Когда-то она называлась иначе — «Призыв» — и была знаменита тем, что напечатала аж два стихотворения Бродского. Он сам принес их тогдашнему редактору. Редактор «Призыва» совершил довольно смелый поступок, ибо автором этих стихов был туняец, находившийся в Коношском районе на принудительных работах по решению суда Дзержинского района города Ленинграда.

Спустя полвека ваш покорный слуга получил из Коноши приглашение на открытие первого в России музея поэта Иосифа Бродского в деревне Норенской Коношского района Архангельской области. Приглашение было с благодарностью принято, и вот теперь я иду по этим «бродским» местам в сопровождении опытного экскурсовода Надежды Ильиничны Гневашевой — заведующей туристическим центром районной библиотеки имени... — правильно, имени Бродского. Мне показывают деревянный дом, в котором когда-то располагалась редакция той самой газеты, называвшейся «Призывом». Познакомьтесь, говорят мне, это дочь того самого редактора, который напечатал стихи Бродского.

А вот тут, говорит мой гид, Иосиф Александрович работал выездным фотографом. Это коношский комбинат бытового обслуживания. Здесь Бродский познакомился и подружился с Владимиром Черномордиком. Кстати, вам обязательно надо познакомиться с женой Владимира. Она до сих пор живет в Коноше. А вот здесь, продолжает Надежда Ильинична, дом, в котором помещалось тогда районное отделение милиции. В 1964 году начальником отделения был Василий Полихронович Кузнецов. Он пожалел Бродского, который работал поначалу на лесоповале. Однажды он вызвал его в отделение, расстелил на столе карту района и сказал, чтобы Иосиф Александрович сам выбрал себе деревню на жительство, то есть на ссылку, дабы лес не валить, а заниматься посильным сельским хозяйством. Бродский внимательно оглядел карту и выбрал деревню Норенскую (Норинскую), поскольку жену его лучшего друга звали Галя Наринская.

Так, за разговорами, мы миновали старую почту, откуда Бродский звонил в Ленинград, и подошли к зданию районной библиотеки, носящей его имя. Тут, надо сказать, все подчинено этому имени: и шкаф с книгами, которые он читал, и шкаф с книгами о нем, и портреты на стенах, и целая инсталляция, названная «Поэтическим кристаллом». Меня, как гостя из Москвы, попросили прочитать под запись стихи Бродского для аудиофонда библиотеки...

На следующий день мы с Надеждой Ильиничной отправились в Норенскую, где последовательно осмотрели дом Пестеревых, в котором, собственно, и жил Бродский и который представляет собой первый музей, ему посвященный. Там в чистенькой светелке был накрыт стол с пирогами и прочей снедью: на открытие дома-музея ждали губернатора Архангельской области. И куда губернатор был в пути, мы осмотрели дом Таисьи Ивановны Пестеревой, где поэт проживал в течение первых двух недель в Норенской. Этот замечательный старый дом купили бизнесмены Елена и Анатолий Мальцевы, тоже поклонники Бродского. Осматривая все это, я наткнулся на одну из многочисленных ссылок, выставленных здесь: «Иосиф Александрович вспоминал о Норенской: «Это был один из лучших периодов в моей жизни. Бывали и хуже, но лучше — пожалуй, не было». Все, подумал я, пора выйти подышать свежим воздухом. Я покинул дом-музей, прошел до шоссе

мимо гигантского транспаранта «Норенская. Вдохновение Бродским», выбрался на середину пустынной дороги и огляделся. Вокруг беззвучно замер пейзаж с умершей деревней, развалившимися домами, покореженными постройками, назначение которых теперь угадывалось с трудом. Три дома, превращенные в музеи, стояли среди этого кладбища странными островами. Когда сюда приехал Бродский, здесь было сорок домов с людьми, совхоз, телятник и ферма. Деревня была живой. Теперь совхоза нет, нет и людей, разрушились дома, покинутые хозяевами...

Над Норенской сгустились тучи, резко похолодало, повалил снег, что еще более усугубило печаль этого пейзажа. И вдруг на въезде в деревню раздалось характерное покрякивание и на приличной скорости в эту заглохшую небыть въехала бодрая машина ГИБДД, затем джип охраны с мигалкой, за ним лимузин губернатора. Торжественное открытие музея Иосифа Бродского начиналось.

В какой-то момент мне захотелось сильно ущипнуть себя, чтобы прервать этот странный сон. Что, собственно, торжественно и радостно мы здесь открываем, спросил я себя: дом, куда Бродский приезжал творить, уединившись от городской суеты или позорный для моего Отечества факт ссылки большого поэта, его изощренное унижение ярлыком «туняец», психушкой, несправедливым судом, тюремным заключением, принуждением к физическому труду, ограничением свободы? Что? И почему ни в библиотеке его имени, ни в доме-музее, ни в Норенской, ни в Коноше нет поразительных по степени хамства и невежества протоколов его допросов в Ленинградском суде? Думаю, ответ на этот вопрос — в замечательной мемориальной доске, прикрепленной к стене Коношского вокзала: «Сюда осенью 1964 года прибыл в ссылку поэт, лауреат Нобелевской премии Иосиф Бродский». В этой «памятной» надписи почти все неправда. И главная ложь в том, что «осенью 1964 года» сюда прибыл не поэт, а осужденный туняец, и не лауреат Нобелевской премии (он получит нобелевку только через двадцать три года), а «окололитературный трутень». Я понимаю, помнить именно об этом как-то не хочется. Но помнить надо именно об этом. Как нельзя забывать, что Михайловское — место позорной ссылки великого Пушкина, а Воронеж — унижение ссыльного Мандельштама. Что якутская слобода Амга будет вечно «знаменита» ссыльным Владимиром Короленко, сибирский Илимск — шестилетней ссылкой Александра Радищева, а деревня Пинега в той же Архангельской губернии «прославлена» ссылкой Александра Грина. Как нельзя забывать, что ярлык ссыльного был приклеен навечно и к гениальному Достоевскому...

Теперь же я позволю себе только напомнить то, что не следует забывать никогда и нигде, особенно в Коноше и Норенской.

СУДЬЯ САВЕЛЬЕВА (обращаясь к Бродскому): А вообще, какая ваша специальность?

БРОДСКИЙ: Поэт, поэт-переводчик.

САВЕЛЬЕВА: А кто это признал, что вы поэт? Кто причислил вас к поэтам?

БРОДСКИЙ: Никто. А кто причислил меня к роду человеческого?

САВЕЛЬЕВА: А вы учились этому?

БРОДСКИЙ: Чему?

САВЕЛЬЕВА: Чтобы быть поэтом? Не пытались кончить вуз, где готовят... где учат...

БРОДСКИЙ: Я не думал... я не думал, что это дается образованием.

САВЕЛЬЕВА: А чем же?

БРОДСКИЙ: Я думаю, это... от Бога...

САВЕЛЬЕВА: Вы думаете, что ваши так называемые стихи приносят людям пользу?

БРОДСКИЙ: А почему вы говорите про стихи «так называемые»?

САВЕЛЬЕВА: Мы называем ваши стихи «так называемые» потому, что иного понятия о них у нас нет.

А вот и строки из приговора суда: «Из справки Комиссии по работе с молодыми писателями видно, что Бродский не является поэтом. Его осудили читатели газеты «Вечерний Ленинград». Поэтому суд применяет указ от 4.5.1961 года: сослать Бродского в отдаленные местности сроком на пять лет с применением обязательного труда».

Вот как было дело. Вот что неплохо бы помнить, не забывать. Иначе, не приведи господь, снова поедут в «отдаленные местности» тунейдцы, без соответствующего образования возомнившие себя поэтами. А время от времени в разогретых политикой головах будут возникать инициативы о возвращении статьи «за тунейдство» в нашу повседневную жизнь. Я рад бы ошибиться, но мне кажется, что с судьей Савельевой многие согласились бы и сегодня...

Ну а что же с Коношей и Норенской?

Ну, во-первых, я уверен, что надобно сказать огромное спасибо всем, кто и в Коноше, и в Норенской читает и любит Бродского. Это усилиями их умов, душ и умений здесь реально существует светлое облако уважения, знания и понимания подлинной поэзии. Прекрасные стихи Бродского учат коношские дети, осваивают взрослые, уважают местные чиновники. Здесь мне рассказали замечательную историю. Однажды в Коноше что-то случилось со светом (в смысле свет погас). И вот возмущенные жители стали звонить начальнику местных электросетей Александру Николаевичу Забродину и требовать ответа. Знаете, что отвечал на справедливые претензии граждан Александр Николаевич? Он говорил: «Вот вы возмущаетесь, а знаете, что Иосиф Александрович Бродский восемнадцать месяцев жил у нас без света — и ничего, стал гениальным поэтом». Мне представляется весьма сомнительным, что хоть один из начальников районных электросетей Подмосковья, например, знает, кто такой Бродский. А уж как его звали по имени-отчеству... Вот поэтому я с уважением и благодарностью отношусь к коношанам: сегодня по части знания Бродского и о Бродском они дадут сто очков вперед любой столичной штучке.

Ну и, наконец, о главном — о Бродском. Сюда к нему приезжали друзья, приезжала любимая. Но что он чувствовал, оставаясь один вечерами за столом со свечой или керосинкой? В одном из интервью он рассказал об этом так:

«Я выполнял всю физическую работу, которую обычно называют черной. При этом я воображал себя героем одного из стихотворений Роберта Фроста — и это мне нравилось. А если говорить всерьез, я был тогда городским парнем и, если бы не эта деревенька, им бы и остался. Возможно, я был бы интеллектуалом, читающим книги, — Кафку, Ницше и других. Эта деревня дала мне нечто, за что я всегда буду благодарен КГБ, поскольку, когда в шесть утра идешь по полю на работу, и встает солнце, и на дворе зима, осень или весна, начинаешь понимать, что в то же самое время половина жителей страны, половина народа делает то же самое. И это дает прекрасное ощущение связи с народом. За это я безумно благодарен — скорее судьбе, чем милиции и службе безопасности. Для меня это был огромный опыт, который в каком-то смысле спас меня от судьбы городского парня».

Он был здесь полтора года, не оставив после себя ничего, кроме доброй памяти людей, с которыми был знаком, да замечательных стихов. Его гонители не оставили ни того, ни другого, ни здесь, ни в других местах. К несчастью или к счастью — это типичный результат, повторяющийся в родном Отечестве как припев в бесконечной песне, возвращающийся как мелодия в рондо: человеческий и творческий масштаб ссыльного всегда грандиозен по сравнению с энтомологическими размерами сославшего его.

Теперь открыт этот музей, позволяющий помнить и тех, и других. Главным образом, конечно, поэта. Что замечательно. Жаль только, что, как и любая канонизация, эта ставит точку в человеческой истории, которая тут разыгралась когда-то. Бродский, словно предвидев все, спустя десять лет после ссылки написал: «А зимой там колют дрова и сидят на репе, / и звезда моргает от дыма в морозном небе. / И не в ситцах в окне невеста, а праздник пыли / да пустое место, где мы любили».

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНК

Я приехал на венецианское кладбище Сан-Микеле с цветами для Бродского и Петра Вайля. Уже шел обратно к пристани вапоретто (водного трамвайчика), когда подумал, что надо бы зайти в церковь и поискать захоронение Паоло Сарпи, человека великой культуры, обыкновенного монаха, стоявшего, однако, у истоков Возрождения, смело противостоявшего религиозному мракобесию и верившего больше в научные знания, нежели в идею Создателя. Он, между прочим, помогал Галилею конструировать телескоп и демонстрировать его в Венеции местной знати. Ну, это так, кстати.

Так вот, я искал могилу Сарпи. В какой-то момент ноги вывели меня на церковный двор с неизменным каменным колодцем в центре и замкнутым каре арок, образующих тенистые галереи вокруг площади. Пол и стены галерей состояли из мраморных плит с полустертыми именами похороненных здесь людей. Идти по этим плитам было как-то неловко, и я стал искать взглядом менее кошунственный путь. В конце концов взгляд мой остановился на одном предмете и замер.

Рядом с могильной плитой висел таксофон. Как и таксофоном в городе, им можно было бы воспользоваться для звонка в Венецию или в другое место Италии, а может быть, даже и за ее пределы. Но этот одинокий таксофон на погосте навел на другие мысли и поощрял смелые фантазии...

Движимый именно последним, я подошел, снял трубку и опустил куда надо монету. Некоторое время трубка молчала, но потом в ней раздались частые сигналы. Занято! Ничто в моей жизни с такой неотвратимостью и убедительностью не свидетельствовало о бессмертии души, как те короткие гудки.

Интересно, что многим людям во многих интервью я задавал этот вопрос: «Если бы у вас была возможность позвонить любому из ушедших уже людей, кому бы вы позвонили и что сказали бы?»

Тонино Гуэрра сказал, что позвонил бы матери, потому что он чувствует не до конца исполненный сыновний долг. Великий журналист Инна Руденко ответила так: «Мужу. Он погиб трагически, внезапно. Что сказала бы — это не для газеты. А спросила бы, был ли он так счастлив со мной, как я с ним?» Давний друг Иосифа Бродского Людмила Штерн: «Ося, ты как-то сказал, что рай — это тупик, из которого некуда стремиться. Ты и сейчас так думаешь?» Еще один друг Бродского Кейс Верхейл ответил так: «Мне не нужен номер его телефона, поскольку я говорю с ним уже несколько лет подряд. Мы встречаемся минимум раз в неделю. Это происходит в моих снах, повторяющихся с удивительным постоянством. Мы встречаемся не в России, может быть, в Париже, или в Риме, или в Амстердаме... Мы разговариваем. Причем и я, и он знаем, что он умер, что его уже нет. Но это никак не мешает нашей беседе, дело даже не в содержании этих снов. Главное — это сам процесс общения... Когда я просыпаюсь, то прекрасно помню его лицо, его настроение, выражение его глаз, жесты, мимику, я слышу его голос. Но вот о чем мы с ним говорили — не помню. Напрягаю память, пытаюсь уловить какие-

то детали разговора, но — точно. И я говорю себе: ну ничего, до следующей встречи осталось немного...»

Вы спросите, кому позвонил я и по какому номеру? Не скажу.

КОТ

Типичный венецианский кот отягощен комплексом льва: он презирует человека нахально претендующего на царствие в животном мире. Он терпит людскую особь, как интеллигентные соседи по коммуналке терпят хамоватого соседа-пьяницу: они его стараются не замечать и не опускаться до какого бы то ни было контакта. Венецианский кот высокомерен, поскольку он грамотен, чего не скажешь о большинстве человеческого населения планеты, образованного из рук вон плохо. Обилие добытой в лагуне рыбы обеспечивает полную сытость местных Марсиков, Барсиков и Мурзиков, напрочь избавляет их от унижительного попрошайничества и, таким образом, позволяет им сохранять свое кошачье достоинство на недосягаемой для людей высоте.

Назвать этих венецианских созданий дружелюбными или приветливыми было бы ничем не оправданным преувеличением. Отношения их с людским родом я бы охарактеризовал как отношения Евросоюза с Россией: величина, необузданная дикость и неизменная данность последней заставляет первого быть обреченно терпимым. Я видел немало наивных туристов, пытавшихся завязать отношения с венецианскими котами, в том числе и с помощью предложения им неких лакомств. Всякий раз поведение котов обескураживало самонадеянных и бесцеремонных бездельников: кот проходил мимо, не обращая ни малейшего внимания на шумные туземные попытки предложить дружбу. Как и положено настоящему венецианскому коту, животное шествовало само по себе и, вполне вероятно, что-то говорило про себя, типа «да пошел ты...».

К тому январскому дню, когда я оказался на венецианской набережной Неисцелимых, у меня не оставалось никаких иллюзий относительно этих тварей. Устав, я присел на мраморную скамью, вытянул ноги, окинул взглядом пролив Джудекка с контуром знаменитой палладианской церкви Реденторе и замер: прямо на меня по набережной шел черный с рыжими подпалинами на боках огромный котиче. Глаза его цвета лагуны уставились на меня, не мигая, пушистый хвост был поднят трубой. Кот, не останавливаясь ни на секунду, преодолел десяток метров, отделявших его от мраморной лавки, на которой я нашел временное пристанище, подошел, поглядел мне в глаза и — внимание! — потерял боком о мою джинсовую штанину. Затем он обошел лавку кругом и потерял о штанину другим боком. После чего, еще раз взглянув мне в глаза, он грациозно прыгнул на лавку и улегся рядом со мной, деликатно потрогав лапой край моей новой куртки.

Потрясенный, я сидел не шелохнувшись. Потом, наконец-то придя в себя, решил осторожно погладить это удивительное создание. Кот принял мои действия как должное, не одобряя и не возмущаясь. Недолгое время он терпеливо переносил мой приступ дружелюбия, но затем встрепенулся, словно вспомнив о некоем предназначении, спрыгнул с лавки и важно отправился в узкий проход между домами, ведущий к уютному каналу, на котором располагалась известная немногим в этом городе Локанда Монтин. Где-то в середине пути кот оглянулся и опять внимательно посмотрел на меня, словно не понимая, чего я там сижу как дурак. Я, однако, продолжал с изумлением наблюдать за его действиями, пока он наконец-то не скрылся за маленьким горбатым мостиком. Больше я не видел

его никогда. Приходил несколько раз на набережную специально, садился на ту же лавку, вынимал из кармана куртки пахучий ломтик Мартаделлы, обернутый в салфетку, и ждал. Тщетно. Кот так и не появился. Скорей всего, он хотел от меня чего-то, а я не удосужился понять. Может быть, он хотел, чтобы я пошел за ним? Может быть, он что-то хотел мне показать?

Теперь, спустя некоторое время после этой встречи, только один вопрос остается для меня без ответа: кто это был? Может быть, мой старый друг Саша Скорынин романтик и книголюб, умерший в Перми от незалеченной язвы желудка? Может быть, Сережа Торбин, почитатель высоколобой эссеистики, с которым мы мечтали погулять по Венеции и сердце которого не выдержало на самом рубеже Нового года? Может быть, Таня?.. Я мог бы польститься себе и предположить, что это был сам Иосиф Александрович, но вряд ли: мы не были даже знакомы, не говоря уж о каких-то отношениях. Ну, разве что это мог быть его знак благодарности за то, что в течение нескольких лет я привозил на его могилу на Сан-Микеле маленьких керамических котов.

Написал же он в «Набережной Неисцелимых»: «Помню один день — день, когда, проведя здесь в одиночку месяц, я должен был уезжать и уже позавтракал в какой-то маленькой trattoria в самом дальнем углу Фондамента Нуова жареной рыбой и полбутылкой вина. Нагрузившись, я направился к месту, где жил, чтобы собрать чемоданы и сесть на катер. Точка, перемещающаяся в этой гигантской акварели, я прошел четверть мили по Фондамента Нуова и повернул направо у больницы Джованни и Паоло. День был теплый, солнечный, небо голубое, все прекрасно. И спиной к Фондамента и Сан-Микеле, держась больничной стены, почти задев ее левым плечом и щурясь на солнце, я вдруг понял: я кот. Кот, съевший рыбу. Обратись ко мне кто-нибудь в этот момент, я бы мяукнул. Я был абсолютно, животно счастлив».

...Ну почему я не пошел за тем котом?

